

ГРАНИ

GRANI

103

Verlagsort: Frankfurt/Main, Januar - März

1977

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

(Продолжение см. 3 стр. обложки)

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXII

№ 103

1977 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Александр СУСЛОВ — Плакун-Город. Повесть 3
Петербургская поэзия. Подборка Василия Бетаки —
Елена ИГНАТОВА. Виктор КРИВУЛИН. Олег ОХАПКИН.
Вера ФРЕНКЕЛЬ. Игорь БУРИХИН. 96
Анатолий ГЛАДИЛИН — «Запорожец» на мокром шоссе.
Опыт технического исследования. Рассказ 123

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Владислав КРАСНОВ — Многоголосость героев
в романе Солженицына «В круге первом» 155
Василий БЕТАКИ — Три спора. О поэзии
Ивана Елагина 176

ПУБЛИЦИСТИКА

- Свобода человека и общество грядущего
От редакции 199
Льюис МЭМФОРД — Авторитарная и демократическая
техника 202
Э. ШУМАХЕР — Техника и политические реформы. 217
К. ШТАЙНБУХ — Европейские демократии на пороге
решений 230
В. ПОРЕМСКИЙ — Будущее свободы 242
-
- Илья ЗЕМЦОВ — История развития советской социологии.
Окончание 258

БИБЛИОГРАФИЯ

- Т. Паншина. Средневековая восточнохристианская
культура и искусство в исследовании некоторых
советских авторов 280
Список книг, поступивших на отзыв 286

Обложка работы художника Н. Мишаткина

©1977 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «Посев»

Александр СУСЛОВ

Плакун—Город

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

В этот день три солнца восстали над городом. И три тени аспидные толкались у каждого, как нищие за подаянием, просили, требовали своего. Пугались коты этих теней и в страхе на деревья царапались, и выли там, и раздирали бока широкие в ветвях. А праздник был.

Смотрел огненно праздник через три солнца над городом и три черные тени отбрасывал, веселился праздник, веселился и грохал вдруг тремя солнцами, громко грохал в пустом небе. Вороны шарахались с берез головешками.

А праздник смеялся, выкатывал из трех окон в небе и мчался-крутился по улицам. Праздник был.

Крутился и милиционер на перекрестке, отбивался

Александр Суслов (1951 г. р.) родился и жил в Москве. Сначала учился в Архитектурном. Затем перешел в Литературный ин-т им. Горького, на заочное отделение. Профессионально занимается литературой пять лет. Внештатно сотрудничал в редакциях многих журналов, работал в Литературной консультации СПП СССР, с 1972 по 1974 гг. был редактором в изд-ве при Педагогическом ин-те им. Ленина; с 1974 по 1975 гг. работал литературным секретарем в Московском отделении ССП РСФСР. Ныне проживает в США. — Р е д.

от голодных, как коты в ветвях, воющих машин и тоже три тени отбрасывал, топтал сапогом, и крутились они по асфальту бешеные, с машинами бились.

Из окна старого дома, что выходил углом серым на перекресток, с трубой и антенной ржавой, смотрела Маруся на милиционера, и не праздничным ей он казался.

Грустно было в комнате темной, смотрела Маруся на милиционера под солнцами, и еще темней становилось. Щёлкал маятник в темном ящике на темной стене, синий воздух стоял в комнате, и всё казалось Марусе — улыбнется милиционер ее бледному лицу в темном окне за двумя рамами. Да и как не улыбнуться, когда она улыбается?

И смеялась Маруся, смотрела за окно, и две рамы тяжелые, с пылью меж ними черной городской и бумажным цветком, отняв голос, не могли удержать эту улыбку.

И улыбнулся милиционер, чему-то так улыбнулся — по-своему, а Марусю увидев, расцвел под фуражкой.

— Здравствуй, красавица! — крикнул.

Не слышно Марусе за рамами, прильнула к стеклу, да дрожит стекло от бегущих машин — ничего не понять.

Улыбнулась Маруся и пропала в комнате, а по-стовой еще долго с машинами бился.

— Чего дома-то сидишь? — ворчала мать. — Молодые, а сиднем сидят.

И, отложив выкройки, из газет резанные, с переполовиненными тружениками и портретами государственных деятелей, глядела на дочь.

Отец тут же лежал — на старом, с изорванной обивкой диване, газету читал. Что он там видел, в темноте? Однако тоже проворчал что-то и на другой бок повернулся, дрогнув пружиной, и гул заметался в диване.

— Или вот мне помоги, — всматриваясь в темноту ситца, передумала мать.

— Помоги матери, — буркнул отец.

— Потом, мама. — Маруся уже на пороге стояла. — К подругам надо пойти — ведь праздник.

Вздыхнула та, ничего не сказала, ничего отец не сказал, рассыпался по газетным строчкам, и не было его на диване с пружиной и гулом.

Ударила дверь за Марусей, взбрыкнул звонок в стальной темной чашке, и удар сорвался по ступеням подъезда. Темный подъезд — еще темнее, чем комната. Сбежала Маруся по ступеням, и снова ударила дверь, и новый звук с пружинным взвоем наверх рванулся. Как хорошо на улице!

У подруг тоже хорошо — весело. И мелькали их горячие лица. Все больше на кухне мелькали — готовили, но и в комнатах хорошо — чисто, везде убрано.

В большой комнате стол накрыт, и салфетки топорщились, и закуски на нем: ветчина нарезана тонко и лила розовый свет на листья салата с каплями холодной влаги, тяжелое стекло заливного судака с вмерзшим в него огнем лимона, и даже икра в дрожащем свете на влажных зернах стояла. Немного, правда, икры.

В углу еще один стол — меньше. Фрукты на нем: тусклые гроздья винограда, персики с нежным девичьим пухом и яблоки изжелта-красные, парящие в своем аромате.

Залюбовалась Маруся, прохладные ладони прижав к щекам, цветом расцветшим, — светло, весело будет! И за работу взялась...

Только к вечеру управились подруги. Уже не горели три солнца за окном, асфальт, как пепел холодный, лежал, и коты успокоились, мягко, вкрадчиво по траве разбежались. Один месяц льдинкой в небе светил и две звездочки искрой отсвечивал.

Раскатился звонок в передней, и парни вошли, при галстуках, нарядные, много парней.

— А ну, девоньки! — крикнул Борька и, лихо подмигнув смущенным подругам, стал раскрывать черный портфель.

— Коньяк! — ахнул кто-то.

— Он самый, — подтвердил Борька, ставя на стол разом пять бутылок. Появилось и вино.

— Ефим, музыку давай, — распорядился Борька, щелкнув пальцами.

Вспыхнул зелено электрический глаз, повел по сторонам, и музыка рванулась, торопливо наполнив комнату. И дрогнуло, качнулось веселье, завертелось удалым вихрем по комнате, звеня в бокалах, прокатывалось по чуть смущенным улыбкам парней. Хмельное веселье, радостное.

Распахнулось окно, шарахнулся месяц от огнем налитых стекол, и музыка вылетела, чуть его не задев, и неслась по вечерней улице, отдавая в подъездах и арках, скатываясь по крышам. То праздник катился и мчался-крутился по улицам!

Закружились и пары. Весело всем было, и весело они кружились, взмётывая в блеске девичьим волосом.

Хорошо танцевала Маруся, и Борька хорошо, но лучше всех незнакомый парень в алой рубахе. Пришел он поздно, когда все уже за столом были, и тоже вина принес. Хоть и не знал его никто, да как было не пустить, если пришел человек? Смотрел он на Марусю и смеялся, что-то ей говорил, бело смеялся под алыми, как всполохи шёлка на нем, губами. И Маруся звонко смеялась — красивый парень, как не смеяться?

Статный парень, стройный, выше всех, и смеется весело, а глаза темные. И всё Марусю танцевать приглашает, только на Марусю глядит, а у ней сердце забьется. Видят это подруги и шепчут друг другу, хохочут. Только Борьке не весело, курит на стуле в углу, ленту синего дыма над собой разворачивая. Тонкая

лента, так и висит. Грустно Борьке. «И что она в нем нашла? — тоскливилось ему. — Ну, здоровый, жлоб. Так разве в этом дело? Рубаху модную отхватил, а вы спросите, есть ли у него костюм, и я уверен, что нету... А может, и есть, спекулянтская морда».

— Ефим, — негромко позвал.

Ефим танцевал с худющей, вертлявой девушкой и чёрт-те что рассказывал, пришептывал ей. Она вскинет глаза на него и потом в сторону куда-нибудь уведет и голову чуть в плечи втянет, будто за ухом ее щекочит. Доволен Ефим. И хоть далеко был, услышал, что зовут, подошел.

А в коридоре обнимались, целовались уже, даже свет выключили. Темно — зайдешь, и только шуршание.

— Объявляю белый танец, — остановил музыку Ефим. Он выждал и снова включил, но упрямо разглядывал, как крутится кассета и лента ползет, шелестит, перематываясь. Не успел он всё там до последнего винтика рассмотреть, подошла худая его подруга и пригласила. И опять танцевал Ефим, чёрт-те что рассказывал, пришептывал ей, а она голову чуть в плечи втянет, будто ее за ухом щекочит. Доволен Ефим.

И другие танцуют, а Маруся сама парня того пригласила. Мрачный сидел Борька, и вовсе тоскливо ему стало, так тоскливо, что и курить перестал. Хотел уж совсем отсюда уйти, да подошла вдруг Ирина. Жаль ей Борьку, вот и пригласила его. Улыбнулся Борька невесело и пошел танцевать, и уже рассказывал что-то, обнимался с Ириной.

Месяц больше не плыл — карабкался в небе, наваливался на трубы, как нищий на костыли, в антеннах цепляясь. Вот-вот заблажит, запоеет что-то, дикую песню с собой понесет. А потом и вовсе пропал — закатился куда-нибудь. Ищи его, где найдешь?

Темно стало в городе, и две звездочки иссветились совсем, тихо так, как обертка, выхрустывают. Редко

какой фонарь головой одурело качает. А светить — где там, и не светит. Темно в городе.

— Пора мне, Маруся, — вздохнул парень.

— Что уж?

— На работу рано. Я в «Березке» работаю, сама понимаешь, дело ответственное.

В коридоре включили свет. Он желто косматился под потолком и тлел на рубаше парня. Грустно смотрел тот на Марусю, видно, не хотелось ему уходить. Грустно и ей.

— Пойдем, хоть проводи меня, — попросила Маруся.

Они вышли в ночной воздух, и ветер за ними шуршал. Темно было в окнах и тихо.

— Маруся, милая, — остановился вдруг парень и обнял ее горячую, — я люблю тебя, Маруся, выходи за меня.

Наклонился и поцеловать хотел. Испугалась Маруся.

— Что ты? — И вырвалась, почувствовав, как скользнули по плечам его руки и задели грудь. — Что ты, я и не знаю тебя совсем.

Тусклая лампочка отражалась в одном его глазу, а второй — темный был и на Марусю смотрел.

— А что тут знать-то? — обиделся. Молча стоял, и свет на Марусю падал. — Ну, хоть встретимся давай завтра. Ты на танцы в клуб придешь?

— Приду, — согласилась и скорее домой, а то опять целоваться полезет. Убежала и очень об этом жалела потом, боялась, что совсем обидится парень — не придет завтра. А самой ох как за парня хотелось.

Отец уже спал, ворочался на диване, где газету читал. А мать сидела у лампы, бумагой накрытой, и дочь дожидалась.

— Слава Тебе, Господи, — только вздохнула, — пришла наконец.

Лицо ее старое, заострившееся в тревоге, теплело, расходились морщины, клином сошедшиеся, только у глаз лучились.

— Ложись, доченька, поздно уже.

И только к дочери подошла, видит — цветом цветет Маруся, и глаза в блеске. Села на стул у двери и на мать не глядит, смотрит куда-то через стены, через дорогу, через весь город, мечтает о чем-то. И сказала так же, не глядя:

— Мам, а мне предложение сделали.

— Да кто же это? — опять встревожилась мать.

— Парень какой-то, сегодня у Снегиревых был. Говорит, в «Березке» работает.

— Врет, небось, — махнула рукой мать, и воздух бумагу на лампе качнул, — ты не больно-то слушай. А где живет-то?

— Не знаю, мам. — Маруся посмотрела на мать.

— Надо узнать обязательно, дочка, а то породнимся с каким арестантом. Будет тебе «Березка».

— А как узнать? — Маруся ушла за перегородку, всю фотографиями исклеенную, и стала раздеваться. Шелестело снятое платье, и стукнули быстро пуговицы, когда на стул вешала.

— Я дам тебе ниток, вот этих... — Мать к дочери зашла, увидела ее — ахнула:

— Ну и красавица ты у меня!

Застыдилась Маруся, быстро накинула сорочку, взметнула одеялом, укрылась.

— Нитки тоненькие, как паутина, никакой дверью не защемишь, да крепкие — не оборвутся. Как будешь с ним прощаться — накинь на пуговицу, и по нитке найдешь, где его дом. А там можно и соседей расспросить, что за человек.

— Если на автобусе не уедет, — засмеялась Маруся, закрыла глаза. — Ладно, попробую.

— Здравствуй, Маруся, — сказал, и рубаха огнем

полыхнула. Стоял парень, и хоть много народу было — все на танцы пришли, сразу его узнала. Как не узнать красавца такого.

— Здравствуй, — покраснелась, — а я думала, не придешь.

— Чегой-то?

Вроде удивился парень, да и так поняла — не обиделся.

— Пошутил, думала.

— Пошутил... какие уж тут шутки, — всю ночь не спал, всё о тебе, Маруся, размышлял.

Ее удивило это «размышлял», да ничего не сказала. И странно он посмотрел. И опять, как той ночью, отразился свет — освещенная эстрада, на которой усталые от жизни и всего в ней выпитого мужики, с винным румянцем, а кто и с проплешиной в жиденьких волосах, шевелились. Всё это отразилось в одном глазу парня, а второй черный был и на Марусю смотрел.

«Да уж не кривой ли? — испугалась Маруся и тут же решила: — Нет, не кривой. Смотрит глазом-то, видно, что смотрит, и не косой».

Тут мужики грянули что-то напористое, торопливое и, обгоняя один другого, понеслись в медных звуках труб. Деревянно спешил контрабас за ними, и взрывался грохотом, полосовал всех барабан.

После особенно громкого удара, когда спекшаяся кожа на барабане готова была разорваться в куски, разом наступила звонкая, как второй, готовящийся удар, тишина, и стоявший с краю мужчина так же торопливо и наперегонки прокричал:

— Добрый вечер, дорогие товарищи! Двери клуба работников Комитета гостеприимно распахнуты для всех желающих отдохнуть и повеселиться. Провести культурно досуг вам поможет вокально-инструментальный ансамбль «Родина». поприветствуем его, товарищи! — Размахнулся широким жестом на мужиков и первым ударил в ладоши.

Гром рукоплесканий сорвался с крепких, чуть красноватых рук молодых людей в пиджаках, к которому присоединилось кокетливое похлопывание бледных ладошек с кровавыми коготками.

Мужики на подмостках заметно застеснялись, закланялись в разные стороны и кинулись играть что-то по-прежнему торопливое.

Ладные молодые люди быстро и без всякой суеты разобрали своих подруг, как ружья из пирамиды, и танцевали уже. Танцевала и Маруся с парнем.

— Маруся, — парень смотрел и хоть не то, другое что-то рассказывал, видела, что говорит:

— Милая, выходи за меня.

Смеялась Маруся, а глаза таяли темной водой, просили:

— Погоди чуть, дай с собой справиться.

А самой страшно, и огненное что-то руки жжёт — рубаха это. В синем воздухе зала, только с эстрады чуть освещенном, среди темных фигур горела, калилась и жаром дышала.

«Маруся, выходи за меня».

Из жёсткой черно-зеленой кулисы вышла женщина, еще молодая, и, сказав голосом тяжелым, так же тяжело и хрипло запела что-то о журавлях, короткой любви и холоде разлуки. Длинное ее платье свивалось, дождем шелестело по сцене. И грустно стало Марусе, и вспомнилась осень, как сидит у окна и смотрит, смотрит через косо поставленные водяные струи на перекресток, на милиционера в плаще, пока ночь не настанет...

Кончилась песня. Прибавили света, и отразился в нем отчаянный вырез на платье певицы, в котором волновалась, страдала ее грудь, и манил этот вырез взгляды пиджачных молодых людей. С той же внимательностью смотрела престарелая «Родина» ей в спину.

Усмехнулась, подмигнула женщина залу и пошла

за кулису, еще более волнуя грудью и покачивая станом.

— А теперь, дорогие товарищи, — вывернулся откуда-то давешний мужчина, — выступает Краснознаменный ансамбль пограничных войск!

Кто-то за сценой оглушительно засвистел, и, не переставая свистеть, с веселым перетопом начищенных гуталином сапог, на сцену стали выпрыгивать пограничники, каждый с каким-нибудь инструментом взамен автомата. Тут же построились и грянули что-то веселое, чрезвычайно удалое, с оглушительными вскриками «эх!».

Поздно они расставались. Уже исчезли в длинной, змеей протянутой через город улице пограничники, метнув по дороге запах сапог и вскрик задушенной ночной песни. Не светились сквозь шторы окна в клубе, и луч не резал доски крыльца из распахнутой двери. Поздно было, и дверь заперта.

Обнял Марусю парень и поцеловать хотел, и опять вырвалась она, почему, и не знала, ведь целовалась же раньше с Борькой и с другими парнями целовалась. Только после про нитку вспомнила, тронула за плечо парня и на пуговицу незаметно накинула.

— Не обижайся, — сказала, — завтра к нам приходи, ждать буду, домой приходи.

Так и расстались. Повернулся парень и ушел в темноту. Дернулся, птенцом завертелся, забился в руке у Маруси клубок, быстро так завертелся, будто не шел — бежал ее милый. Хоть и длинная нитка была, скоро клубок раскрутился, совсем маленький у пальцев замер. Подождала еще Маруся и по нитке пошла.

Темный дом, с черной крышей меж звезд, двинулся к ней и вбок отступил, когда за угол повернула. Ветер сразу в лицо дунул, тихо он выл в пустом переулке. Редко шевельнется какой лист на дереве, шепнет что-то, и опять только ветер останется. Домá все чер-

ные, черными буграми в небо уставлены, ни света, ни звука: не скрипнет ставень, не вззоет собака, и светом не вспыхнет серебряный тополя лист.

Луна вышла легонькая, как кусок старой занавеси, вся просвечивает, всю черноту неба видать сквозь нее. Чуть-чуть сама себе светит.

Бежала нитка сначала по переулку, потом в другой своротила, еще темнее, с тем же тихим взвоём ветра, и в тяжелый, из мрака поднявшийся забор уперлась. Глухой забор — ни калитки, ни щели.

Остановилась Маруся. Пробовала дотянуться до верха — не может. Только сбоку заметила черную дерева тень. Близко к забору дерево, и ветка над ним свесилась. Ухватила за ветку Маруся, перебралась. Попала в какой-то сад. Совсем стало темно. На ощупь, по нитке меж деревьев пошла, заденет за ветку, и зашелестит, затревожится ветка, а у Маруси сердце замрет.

Снова забор. Этот ниже. Опять чей-то сад. Долго по саду шла, наконец на тропинку выбралась. Мокрая трава чуть светится при луне. Идет Маруся, торопится ниточка, слева — овраг черный, земля от тропинки в черноту с кручи падает. За оврагом, далеко внизу, крыши сутулятся, сады отблескивают в лунном свете. Справа — луг.

Повернула тропинка, отодвинулся склон и овраг, луг пропал за кустами, явилась церковь. Белая, синееет ночью. Тускло посвечивают грани золотого креста, и купол тихо выгибается, круглится в сиянии. Колокольня с черным проёмом, в котором тяжелеет, угадывается звонкое тело колокола, и малые колокола, как черные брызги большого. Всё это тихо сейчас, даже ветер молчит — отстал, в садах запутался где-то.

Взошла на белую, в щербинах стертого камня паперть и тронула кольцо притвора рукой. Заперта церковь.

Постояла, тихо спустилась и обогнула белую сте-

ну по особенно росистой у холодного камня траве. Высоко вверху, в густой синеве узких стекол, отразилась луна, сверкнула и пропала в глубоком проеме. Высоко окно — не достать. К другому окну, с другой стороны, бросилась. Темная стена, и глухая тень всё накрыла, только окно еле светится, освещает его изнутри. В темноте споткнулась о что-то — лестница деревянная, в белых пятнах извести, на земле лежит. Приставила к окну, заглянула...

Посреди церкви ее жених мертвеца ест.

Одной рукой за гроб черный схватился, а зубами лоб мертвеца прогрызает. И крови нет, только желтая мертвая кожа разодрана, и кость мокрая, бледно-синяя выступает, слезит сукровицей. Сглотнул, перекусил одно веко — и глаза уже нет, а второй распахнут весь и дико зрит наверх, где в черной густоте свода багровые всполохи мечутся. Адовым огнем пылает одежда Нечистого, и красное шевелится на влажном лаке икон, прыгает по полу, ударяясь и высвечивая в золоченых подставах.

Рванул Нечистый белую ткань воротника и впился широким клыком в горло безглазого покойника, и сильно хрустнули кости, и голова повернулась, уткнувшись изгрызанным лицом в белое подголовье, тотчас потемневшее...

Над Марусей колокол черной медью ударил, и унеслись купола в небо, бросив ее на землю. Не слышала, как закричала...

Глава вторая

Дмитрий шагал по дороге и не землю, казалось, топтал, а так, впустую сапогами пылил, и меньше не делался вовсе, хоть и далеко уже был — уходил Дмитрий. На войну уходил.

Резанул кепкой облако, высвеченное из-под земли огненным взмахом солнца, и лес плечом отодвинул, сине качнувшийся, — ее Дмитрий, и плавился в ее глазах, растекался слезами по лесу, путался в гулком от красного облаке. Как же так? — Уходил Дмитрий. На войну уходил. А она стоит и крикнуть не может, и сделать-то не может ничего. Ведь ее — Дмитрий!

Спуталось всё, и пропал Дмитрий, такой большой только что был — голова по небу, и нет никого... И не будет? Льются слезы, мажут и лес и поле.

Не будет... Охнул вдалеке гром. Там оборвался, где Дмитрий пропал, а Дмитрия нет. *Совсем нет!*

Лампа. И стол. И дверь косая. Работа, как скрип ревматизма. Работа в теле, и не уйти от нее, и кормить ее нечем, и скрипит она голодная, и рвет голодное тело. И слез уже нет — всё выпито, только шуршит что-то, трескается напополам. «Всё для фронта, всё для победы!»

Сколько времени прошло? Кто знает.

Лампа. И стол. Не горит лампа, не светит тепло керосиновым светом. Пусто на столе. А ночью — дождь, захлебывается в черноте, говорит с ней голосом мужа и реку каплями засекает. Мутится река, а что там взойдет? Разве горе?

«Го-ре», — захлебывается дождь и говорит. Много говорит, что не было сказано.

Вышла как-то ночью к реке. Дождя еще не было, только там, за тем лесом проклятым, ворочался, ночной дорогой пылил, как муж возвращался. Река тихо и черно лежала.

Все тихо было, только муж возвращался. Муж? Нет — дождь с голосом мужа, с тихим голосом, как у разрытой могилы. «Го-ре», — захлебывается дождь и говорит. Много говорит, что не было сказано.

Долго стояла, и сеялись слезы, иплыли в реке. А

что вырастет? Плачет и целуется с мужем. А где муж?
...Темно. Река тихо и черно лежала.

Сторонятся ее люди. Боятся горя, хоть в горе живут. А кто и смеется: по мужу тоскует! А кто и строго глядит: панику разводить? «Всё для фронта, всё для победы!» Еще посадят. Дикие люди, сами в горе и горе множат.

Скрипит работа, как долго скрипит! И ломится в голову день, высоко взвивая столб серый с трещиной и черным гнездом репродуктора. Несется столб этот, и землю выгнуло, всю улицу поставило стеной, и людей на стену злых, рваных побросало.

Поют что-то? Где там! Слышат, как голосит репродуктор черной пастью, и сами лают, воют дикими голосами. «Всё для фронта, всё для победы!»

Да кто они? Почему все-то? Отчего все?

Косматый мужичище Фронт вынес ногу из мокрой земли там, за домами, за пустым огордом. Морда красная, качает его, и бабу пьяную обхватил, от крови пьянующую. Неужели от Дмитрия крови? Тащится баба, еле бредет и мужика тащит, и давит людей, вминает глубоко, и пухнет, вздувается земля могилами.

...Медленно, как долго идут.

Не удержался, упал вдруг мужик, и задымилось, почернело вокруг. Выдрало кусок неба над ним, и пропал он.

Как взвоят тут баба, как бросится на мертвую землю. А люди вокруг завертелись, маленькие, — еще громче орут, хоть и давит их и дома валит — радуются. «Победа! Победа!» И снова могилы растут, хоть и нет Фронта, одна Победа осталась.

Лампа. И стол. Не пустой стол — листочком белым, хоть и небольшим таким, в середине вдавленный. Тяжелый листочек, от горя тяжел. И горе в доме

стоном застыло, и не встать, не качнуться, нет света, и воздуха нет, горе одно.

Да ведь было же горе, к горю ли привыкать? Другое было, другое пришло. Пришло и застыло... Темно.

«...геройски погиб ...родную землю от фашистских захватчиков...»

А слез уже нет — всё выпито, съедено людьми, теми, что радуются за стеной: «Победа! Победа!» Темно.

И дрогнул дом — Победа пришла. Заскрипела, распахнулась плоская дверь, Дмитрий вместо двери — распятый, плоский такой. Одно плечо с погоном, ниткой в три куска пришитым — сам пришивал, и сапог на левой ноге с рыжиной, подошва камнем, к стене прижат, в жизни не оторвать. Заскрипел Дмитрий, выворачивая сапог, и Победу впустил — одна морда красная пролезла. Протиснула руку и легко подхватила листок, который не поднять никому. Машет этим листком, радуется. Пасть разинула и орёт что-то. Кровавый туман волнуется в доме. «Так геройски! — орёт,— ге-рой-ски!» Радуйся, жена! Радуйтесь, дети! Все радуйтесь! Муж гер-ройски погиб! Геройски съели его, геройски в землю вдавили, геройски!

Что? Кто там рыдает? Кто рыдает, когда все вокруг радуются? Панику разводить? «Всё для фронта, всё для победы!»

Какого фронта? — Мирного Фронта. Победы? — Мирной Победы. Ну и что ж, что от нее так же кровью разит.

Косматый мужичище Мирный Фронт вынес ногу из мокрой земли там, за домами, за пустым огородом. Морда костью желтой бледная, качает его, и бабу пьяную обхватил, от пота и слез пьянющую. Тащится баба, еле бредет, и мужика тащит, и давит людей, вминает глубоко, и пухнет, вздувается земля могилами.

И криком кричит она в небо, такое высокое, скобленое от шерсти облаков:

— Да сколько их, сколько еще будет?

— Много-го, — донеслось, — много фронтов и побед. Пока люди есть — будут фронты. Пока люди есть — будут победы!

Охватило даль пламенем, и дымом небо над ней охватило. Мчатся в дыму косматые головы, а в пламени грохотом ноги стучат. Дернулась, вспухла земля черная, и мертвец восстал — Первый Фронт. Черной гнилью небо застил, и черная тень от него, и в этой тени другие: и Мирный Фронт и Победа — всё заняли, и людей не осталось.

Вступили в ее дом, — провалилась крыша. Ударили, — и потемнело вокруг, и покатился дом в свинцовой черноте, выметывая редкие бледные искры. Всё быстрее катился, вертелся, и провалилось всё... всё...

Медленно светлело в глазах. Серым туманом каким-то перед ней потянуло. Покачивались лица чьи-то и уплывали, отходили куда-то набок. И она плыла, тихо так, головой вперед. Звенели какие-то веточки, расступались в тумане. Запах приятный скользнул, замешался, звоном позванивал — цветами пахло.

Открыла глаза — больница, белое всё вокруг, и она под белой простынью. Рядом старушка притулилась, серенькая такая, а глазки жалостливые, того и гляди слезы в морщинах закатятся.

— Ты кто? — спросила.

Улыбнулась старушка, грустно так:

— Горе твое.

— Горе?

Старушка покачала головой и вздохнула, словно и сама была не рада, что пришла, да ничего не поделаешь, как не прийти?

— Войду я в тебя, — попросила старушка, — а то увидит кто.

— Входи.

Встала маленькая, едва из-за кровати серый платочек видать, и на кровать полезла, смяла простынь, подушку продавила и пропала, как только ее коснулась. Покойно так стало, серым внутри ее затянуло.

И так же покойно подумалось: «Зачем жить, если Дмитрия нет?»

Долго она лежала, к смерти прислушиваясь, так и заснула незаметно, как оступилась в серый старушечий платок. И Дмитрий пришел, и ей казалось, что свободна от жизни, не давит кровь ртутью, и сердце не давит, не ворохнется в груди, накалываясь на вбитые иглы. И плачет и целуется с мужем...

Тихо и бело простынь лежала, будто и в самом деле она умерла. Один ветер в окнах дрожал, прыгал в комнату и простынь трогал, тяжелая — не шевельнется, мрамором лежит, в мрамор застыла.

Только тот раз последний был, когда мужа видела. Пропал Дмитрий, перестал во сне приходить, как ни звала. Да и сна тоже не стало, обрывками ночью пронесется и умчит в синюю от месяца стену.

О смерти больше не думала. Поле видела, где Дмитрий погиб. Где это поле? Там Дмитрий. Найдет мужа, найдет могилу его. И не думала больше о смерти. Как умирать, когда Дмитрия нет?

Письмо написала, и письмо криком пошло, полетело стоном. Да разве услышишь стон среди миллионов стонов? Ответили ей, строго так. «Всё для фронта, всё для победы!» Еще посадят. Дикая люди, сами в горе и горе множат.

И снова писала, и снова ждала. Ответили, когда и ждать перестала, и указали место, где убили, и награждать обещали посмертно.

...И бросилась к мужу.

Бурое поле мокро дымилось, вздыхало волнами, и солнце, такое забитое, маленькое, по самому краю пряталось, застилалось туманом, липло к мокрой земле. Птица комом сухой травы перекатнулась: ударит в землю, подпрыгнет и снова ударит, пока не бросило ветром за кромку поля, туда, где пропал уже дрожащий, легкий ее писк. И трактор ревом толкался в землю и полз. Далеко, тоже маленький, последний кусочек зеленого поля чернил. Всё черное будет.

И вдруг на этом кусочке задрожало что-то, совсем уж крохотное, красное, и заметалось в ее глазах. Солнце? Нет. Звезда. Звезда на могиле. Дмитрий!

Бежала через поле, прыгали облака в небе, а лицо ее такое большое сделалось, отразилось в мокрой земле, по всему полю его разметало, и по самому краю, по щеке где-то, трактор ползет, вот-вот мужа могилу срежет, как дорогую серьгу, и стукнет, покажется эта серьга...

Увидел ее тракторист — из кабины выскочил. Молодой. Рот в удивлении разинул так, что кепка едва удержалась, чуть не шлепнулась на тусклые гусеничные звенья с землей на металле.

— Эй, тетка, тебе чего? — крикнул.

Не заметила его, одну звездочку фанерную видела. Не читая букв, дождем полусмытых, бросилась на холмик зеленый, с короткой пыльной травой, затряслась, прижимаясь. Шептала что-то в землю, и уходили слова в глубину между корней травы и глухие приходили оттуда.

Смотрел тракторист и вспомнил, как прошлым летом ходил отца поминать. С братом ходил. Были выпивши оба и не слишком тужили по старику, а больше так, чтоб еще добавить, пошли. На такое полезное дело и мать денег дала. Уже выпили всё, помолчали, как водится, и тут отцу брат сигарку свернул, зажег. Лежит на могиле сигарка, смолит тоненько, и развеселился чего-то брат.

— Выпил, покури теперь, батя! — да как топнет сапогом. И так гулко по земле отдало, что испугались, опешили оба.

Еще раз топнул, уже слабее, и опять тяжело дрогнула земля. Страшная земля на кладбище, прахом наполнена. Побледнели братья, трезвея, да как пустятся с кладбища...

Смотрит на нее, и кажется парню теперь, что это отец говорил. Постоял еще, да и двинул куда-то вместе с трактором, только пыль поднялась.

А она шептала что-то в землю, и уходили слова в глубину между корней травы и глухие приходили оттуда.

И тогда не умерла, когда Дмитрия разыскала. Да и как умирать, если школа рядом его именем названа, если памятник ему собираются ставить? Поставят или нет — неизвестно, а если не писать, не просить, то и вовсе наверняка не поставят, имя его и подвиг забудутся. Кто станет помнить, если ее не будет?

А сейчас — могила цветами убрана, пионеры в почетном карауле стоят каждый праздник, а на Девятое мая особенно. И ее тут все уже знают. Помнят, как выступала в школе, как рассказывала о подвиге мужа, как сами украдкой слезы стирали.

Волновалась тогда, ведь рассказать надо всё, что внутри застыло, что никому не рассказывала, что привычно у сердца держать. Да и кому было рассказывать, кому чувства свои поверять, разве Дмитрию самому, когда по ночам дождем приходил?

Дмитрию. Одно только имя, вслух произнесенное, сжимало горло, ее трясло рыданием.

Тихо было в зале, скрипнет где стул и замрет, испуганный скрипом, и опять тихо. Две корзины с цветами на сцене, одни красные, другие лиловые. Кра-

сный занавес на кольцах повис и замер, не шелохнется, и она перед занавесом.

— Дети мои, — глянула на пионеров, на их чистые, чуть бледные лица, и забыла, что у самой детей никогда не было, да и неправда это, что не было, были: ведь сколько жизней она спасла трудом своим, — дети, не повторяйте никогда того, что прошло, того, что мы пережили. Станете взрослыми — не позволяйте войне приходить к вам. Не надо фронтов, и побед не надо — плохо это. Плохо, когда мир вокруг, а когда война — еще хуже...

Осеклась, боялась — не поймут ее дети, а взрослые говорить не позволят. И так уж вон с какими лицами сидят.

И вспомнила, что говорила в учреждениях, комитетах всяких, где нельзя было правды сказать. А говорить надо, не то вовсе памятник не поставят, имя его и подвиг забудутся, кто станет помнить, если она говорить не будет?

И о муже говорить стала, как рос он, как родителей всегда уважал. Всякое говорить стала, чего и не думала. Было это, и правда было, да не главное было — не в том суть.

И каким честным он был, рассказала, и смелым, и как честно и смело за родину погиб.

Видела — успокоились взрослые, а у ней, от того, что говорит, Дмитрия в сердце как пеплом присыпало. Как ни ворохнется сердце, не наткнется на боль, мягко кругом — пеплом засыпано. И легко рассказала о гибели мужа, будто это и не Дмитрий вовсе, а так, другой какой человек.

И сама успокоилась, и забыла, а с того времени и не вспоминала совсем, *за что* погиб ее Дмитрий. А потом и самой показалось — нельзя не погибнуть было, обязательно *надо* погибнуть, чтобы враг не прошел, чтобы дети росли.

И смотрела на заплаканные лица детей, и вдвое себя матерью чувствовала.

В родительский комитет выбрали, и уже без школы представить жизнь свою не могла, и говорила, рассказывала о муже-герое, и приятно замечать было, как с уважением смотрят взрослые, и дети — с любовью.

Только ночью, когда одна останется, и дождь через лес перевалит, вспомнит Дмитрия, каким был ее муж, и выступят слезы, и забьется в рыдании. А говорить — где там, только плачет и жизнь свою клянет. А говорить с мужем-дождем перестала. И то, двадцать лет уже скоро пройдет — все слова давно сказаны...

Дмитрий зашел к вечеру. Наскоро стукнул в дверь и, не дожидаясь, когда ответят, шагнул в комнату. Веселый такой, молодежавый, а глаза чуть тревожные, в сером пиджаке, рубашке с галстучком и портфелем, видно, что тяжелым. Улыбнулся, и от тревоги как-то нахально получилось, почувствовал, перестал улыбаться.

— Здравствуй, жена, вот и вернулся. Не бойся, не с того света, из Воронежа приехал. Правда, сразу хочу предупредить, не насовсем — по делу заглянул.

Помолчал, поставил портфель на стул и, достав прозрачную пластмассовую расческу, дунул на зубья и причесался, поглядывая через жену в зеркальце на стене.

— Я вот чего хотел-то: разводец бы нам организовать, а то, сама понимаешь, — не того. Эвон сколько время не живем, а всё расписаны — непорядок, что люди подумают.

Прошелся по комнате, заглянул на полку и фотографию свою увидел, где молодой стоит, улыбается.

— Молодец, что сохранила, возьму-ка я ее, а то

неудобно, понимаешь, семья у меня в Воронеже, дети взрослые, а тут фотография. Да что ты молчишь? — как будто удивился, сел к столу, прямо на нее посмотрел...

А она стоит и крикнуть не может, и сделать-то не может ничего. Ведь ее — Дмитрий! Как же так? — Пришел Дмитрий. Через двадцать лет после войны...

— Ну вот, будешь теперь стоять, как аршин проглотила, — нахмурился, чиркнул спичкой, папиросу зажег. — Жилплощадь у тебя отбирать не буду — пользуйся, и вещи мне не нужны, можешь не беспокоиться.

Выпустил дым, призадумался, глядя на нее:

— Н-да-а, постарела... — И вдруг плутливо озарился: — Хотя мужики еще ходят, небось? — Засмеялся.

Встал, потянулся к портфелю.

— Не обижайся, шучу. Я тут заявленьице приготовил, так, мол, и так: «Ввиду долголетнего проживания врозь с мужем, не возражаю против развода». В таком роде, устраивает?

Сказал и замолк. Тишина камнем гробовым в доме застыла, и не ухватиться за стену, не качнуться, нет света и воздуха нет...

— За что? — двинулось в тишине, и не она, казалось, мертвыми губами вышептала это, земля, вся земля могильная, полная прахом, костями человеческими полная, вздохнула тяжело, так тяжело, будто все мертвые в одно слово сказали.

— Чего? — сначала не понял, а понял — вскочил.

— За что?

— Ну тебя! — Схватился за портфель. — Знал, что лучше не ходить, зачем понесло? — И бросился из дома.

...Что сделали с ней? В страдании жить, страданьем утешиться. Отняли ее право на страдание, всю жизнь — муку и верность — отняли, бросили ей в

лицо. Глумление осталось, как будет глумиться каждый, дети — смеяться. Где ее горе, когда горя и нет? Где несчастье, из-за которого день, как ночь, из-за которого старухой сохлась? Всё отняли. Где она? Да за что же!

Черной медью повернулось и ударило в голову. И дом качнулся, а раз качнувшись, не мог остановиться. И снова ударило — оборвалось что-то внутри. Ударило, и воем завыло, потемнело вокруг, и покатился дом в медной черноте, вымётывая редкие бледные лица детей. Всё быстрее катился, вертелся, и провалилось с последним медным ударом всё... всё...

Глава третья

Страшно Марусе, темно, ждет Нечистого в гости — сама пригласила.

Глава четвертая

Вспыхнул день, свечой разгорелся. Железные стены, ржавые по углам, с винтами и скобами, дрожью дрожали, мчались по городу, и она в этих стенах — уже сумасшедшая. Дикая видом своим, разом выпавшими зубами и пеплом волос, с головы высыпавшим. Да за что же!

Неслись, торопились стены, мчали безумную в дом для безумных, и санитары спешили. Тяжко рассудку рядом с безумием, а чем защититься? Стеной да железом. Скорее.

А куда торопились, если на кладбище надо? Ведь мертвая она, уже двадцать лет мертвая, как не увидеть. А те и не догадываются — глупый народ, раз ходит еще — живая, думают. А у ней и сердца-то нет, еще ночью, после Дмитрия прихода, выгрызли. Да и много ли было его — раз глотнуть.

Едут. Глянула — вон и дом в тесной отдушине

осветился, бросился куда-то. Огромный, налетит на кого.

— А-а-а... что?

Да нет, ей не лекарство — гроб надо. Да только ли гроб, ведь сколько еще закупить всего, и не сразу найдешь, не везде купишь. Как тут лежать?

— За что?! — санитару крикнула в окно с решеткой, и когда вздрогнул тот, расхохоталась в ямах изрытыми деснами.

И грохнулась на железный пол, быстро вытянувшись, и руки на грудь, чуть ниже дыры, что ночью прогрызли, сложила. Мертвая — сами смотрите.

Бегут, торопятся стены...

— Эй, бабка, хватит чудить. — Загремел дверью, вошел к ней санитар. — Вставай.

Лежала, не слышала.

— Вставай! — Несильно пнул ногой. — Кому говорю.

Тронул рукой и холод почувствовал, лютый холод мертвого тела. Вздрогнул брезгливо:

— Вот старая чертовка, и в самом деле сдохла. Дела.

И, озадаченный, покачал головой.

— Эй, Фомка! — крикнул шоферу, кутившему в кабине и не желавшему вылезать, хоть и приехали.

— Чего?

— Поди глянь — бабка-то сдохла.

— А мне чего? — резонно заметил Фомка, не двигаясь и так же размеренно гоняя из одного угла рта в другой серую «беломорину». — Вытаскивай теперь, раз сдохла. Я, что ли, буду вытаскивать?

— Дурак ты, — обозлился санитар, — ему говорят: пациент сдох, а он — вытаскивать кто. Не бойся, без тебя обойдутся. — Де-ла, — опять протянул. — Пойду дежурному доложу, а ты, пень смоленский, к моргу рули, сейчас вытащим.

— Быдло, еще ругается, — обиделся шофер, газанул так, что выхлопной гарью обдал халат санитаря, и без того грязный, рванул машину и поехал узкой дорогой между кустов к низкому, плохо беленому моргу, — сам пень.

Тихо тут было, мрачно и темно стояли кусты, трава топорщилась, сухая, какая-то ржавая. Солнце тускло размалевывалось о грязные стены морга и только чуть ярче отражалось в ветровом стекле машины.

— Есть тут кто? — Фомка вылез из кабины, гулко хлопнул железной, пустой внутри, дверцей. Тихо было, никто не отозвался.

— Местечко, — хмыкнул Фомка, сплюнул окуроч, новую папиросу достал, помял, закурил.

Дверь в морг была распахнута, несло оттуда смрадом и сыростью. Синие в полумраке у входа ступени истоптанным цементом пропадали вниз, где вовсе было темно.

Фомка туда не пошел, а остановился на свету и крикнул:

— Есть тут кто? Принимай пополнение.

Гулко рванули вниз, заметались звуки, пока не откликнулись где-то очень далеко, разделились на несколько и не затихли.

— Ну и вонища, — зажал нос Фомка и отошел к машине. Но тут ему вспомнилось, что там, на холодном ребристом полу, лежит мертвая старуха, это ему не понравилось и навело на тревожные размышления.

Он задумчиво стоял у задней двери фургона, прикрытой санитаром, как услышал, что там, в фургоне, шаркнули по железному полу. Сначала чуть испугался, выхватил папиросу изо рта и рот открыл прислушиваясь. Только опять что-то проскребло, шум какой-то за дверью. Неужели мертвая бабка дверь открывает?

— Люди добрые! — Рванулся по дороге, откуда

приехал, и, когда уже был за кустами, слышал, как ржаво закрипела дверь фургона...

В приемный покой вбежал перепуганный, треснувшись о крашенный белой краской косяк. Санитар вяло ругался с дежурным, ругался давно и, развалясь на стуле, докуривал сигарету.

— Э, старуха, кажись, того — ожила, — свистнул Фомка и свалился рядом на стул.

— Иди врать, — отмахнулся санитар.

Дежурный врач внимательно посмотрел на них и развеселился:

— Работнички, пошлешь за живой старушкой — мертвую притащат, соберешься в морг класть, а она — живая у них. Вот что, — огнем сверкнули очки доктора, — тащите сюда, вот прямо сюда, — ткнул в плохо вымытый кафельный пол, — живую или мертвую. Разгильдяи.

— Полегче, — насупился санитар и, бросив сигарету на этот самый пол, где должна лежать старушка, пошел на улицу. Фомка через силу поднялся и опасливо двинулся за ним.

Санитар размашисто, в развевании белого халата, шагал по дороге, матерясь сквозь зубы, но когда приблизился к кустам, за которыми стояла машина, шаг сбавил.

— Слушай, ты дверь открывал? — спросил почему-то вполголоса, всматриваясь через кусты.

— Не-а, — еще тише провеял одним дыханием Фомка и от страха замерз на месте.

— Идем, — взял его за руку огромной ладонью санитар, и оба тихо вышли из-за кустов...

Дверь фургона распахнута, как и морга дверь, и доносится оттуда липкий смрад мертвого тела, и нет никого, пропала старуха, пустой ребрится железный, царапанный пол.

— Слушай, да не трясись ты, — встряхнул сани-

тар оледеневшего Фомку, — может, ее сторож в подвал перенес?

— Эй! — закричал в темноту. И опять гулко рванули звуки, заметались, пока не откликнулись где-то очень далеко, разделились на несколько и не за тихли, только один чей-то высокий тонкий голос еще долго и страшно кричал «эй!».

— Пошли. — Санитар двинулся вниз.

— С-сам иди, — на этот раз твердо засопротивлялся Фомка и остался у машины.

— Пенёк похабный! — Санитар громыхал уже где-то в темноте, потом еще что-то сказал, но Фомка не понял, чего, ему уши заложило от страха. Так он промучился минут пять и уже подбирался к кабине, соображая, не махнуть ли отсюда, как там, внизу, кто-то испуганно вскрикнул.

«Ну, хватит», — решил Фомка, подскочил к машине, схватился за ручку дверцы, но от страха дергал ее вверх, рвался в кабину и даже скулил от нетерпения.

Фомка был уже в кабине и быстро вертел ключом зажигания, когда из темноты морга вылез бледный, встрепанный сторож в разодранной на груди рубахе, а за ним санитар с лицом серого цвета...

Темный слух толкнулся в город и зашелестел, закривился в губах у каждого: из морга бежали покойники! Бежали все, кто там был: и старые, и молодые — пустой морг, и сторожа чуть не убили. Они могут оказаться везде, вы можете целый час разговаривать на автобусной остановке со старичком-бухгалтером из соседнего отдела, а на работе узнаете, что он неделю назад как умер. Следовательно, вы говорили с мертвецом. В магазине занявшая за вами очередь загорелая девушка очень просто может оказаться покойницей. Да такое ли еще было: жена одного крупного начальника в этот день была насмерть задавлена авто-

мобилем, о чем муж ее, естественно, и не подозревал. Вернувшись с работы вечером, он застал ее за хозяйственными заботами и даже не мог предположить, что голова, которую жена «от мигрени» обмотала махровым полотенцем, совершенно раздавлена в пяти местах. Ночью, когда счастливый, утомленный дневными трудами муж лег спать, жена перегрызла ему горло, и они вместе бежали из своей прекрасной трехкомнатной квартиры, которую им совсем недавно выделил исполком.

Сам чуть не убитый сторож в это время сидел у пивной и со всеми желающими за кружку делился пережитым.

— А страшно тебе, дед, было? — допытывались горожане, забывая дуть на пену, и она шипела содой, опадая в захватанных грязными пальцами кружках.

— Еще бы, милоч, не страшно, — обращаясь к кому-нибудь одному, раздумчиво отвечал сторож и прихлебывал желтую муть. Пиво ему брали вне очереди, и он был порядочно хмелен, зашитая на груди рубаха — вся в пятнах, а высохшая, распушившаяся на солнце по волоску борода искапана пивом, и шевелились в ней слюдой отсвечивающие чешуйки воблы.

— Еще бы, я вот давеча сижу в подвале-то, — продолжал сторож, — радио послушать собрался, что там насчет погоды передают. И только это руку протянул, а меня — цап за нее...

Очередь волновалась, выгибалась из-за угла и старалась быть поближе к деду, чего он не желал, ругался, что ему пылят в кружку, отсаживался вместе с ящиком, на котором сидел, подальше. Многие вообще бросали очередь и шли за дедом.

— ...глянул я — Бог мой! Это же тот меня за руку держит, что третьего дня с этажа выкинулся. Встал мертвяк с полки, глаза закрыты, держит меня и говорит: «Не положено, дядя, мешаешь ты нам своей музыкой. Нам и без нее тошно». Да ка-ак

хряпнет меня этим самым приемником по голове.

Кто-нибудь охал, кто-то бежал за новой кружкой, все деда жалели.

— Во, куль набил, — показывал дед макушку, на которой через тонкие дедовы волосы выступал огромный фиолетовый бугор.

— Так-то, милоч...

Ничего этого Маруся не знала — Нечистого ждала. Страшилась за мать, за отца боялась. Насилу уехать родных навестить упросила. Одна в доме осталась. А как Нечистый придет, что будет?

Так же милиционер на перекрестке стоял, с машинами бился. И бледен, внимателен был, не смотрел на Марусю, на машины смотрел, с машинами бился.

Открыла Маруся окно, если что — крикнет, услышит постовой и поможет. Как не помочь? Спасет Марусю от Нечистого. Только сумеет ли? Щелкал маятник в темном ящике на темной стене, и еще темней становилось.

Вздрогнула дверь, далекая дверь — на лестнице, погнулись, затрещали ступени, и чудится Марусе, что в сенях уже кто-то. Так страшно, что и кричать не может, вся к окну подалась, вот-вот бросится прямо на черный асфальт.

Затрещала, распахнулась на все засовы запертая дверь — пусто, как в могилу дверь отворили.

Хочет крикнуть Маруся, твердым, остановившимся зрачком в окно посмотрела, а милиционер совсем рядом, за окном стоит и на нее смотрит, скалится широким клыком:

— Пришел я, Маруся, как прийти обещал.

— Только скажи мне, Маруся, — не было его у окна, а за спиной говорил, повернулась — в комнате стоит, скалится широким клыком, — скажи, была ты ночью в церкви?

— Нет. — Задрожала.

— А видела, что я там делал?

— Нет.

— Нет? — Обхватил ее Нечистый огнемжигающими руками, и не крикнуть, не вырваться, и в губы поцелуем всосался. Как ножом губы ее резали, и холод клыка в сердце спускался. Терзал ее тело Нечистый, душу губил.

И совсем погибала Маруся, как разверзлась в глазах ее тьма, и в свете явилась старушка маленькая, и шепнула что-то. Рванулась Маруся и крикнула:

— Дмитрий!

— Что? — отшатнуло Нечистого, щелкнул клыком, завертелся на месте. — Ну, так завтра отец твой умрет!

И пропал.

Очнулась Маруся — вечер над городом, и в глазах вечер, дождь потянулся над крышами. Мокрые они сутулятся.

В открытое окно капли заносит, стукнут о подоконник и разлетятся брызгами в комнате. Мокрым черным крестом лежит асфальт перед домом, и ни постового, ни машин — тихо вокруг, только капли стучат.

Поднялась и еле шагнула. Глянулась в тусклое, с пыльной трещиной и обломанным краем зеркало и себя не узнала: губы в крови, искусанное лицо, а глаза страшные. Что сделали с ней, такой ли была? И сил не осталось, сердце еле стучит.

Умылась, кровь с губ смешалась с водой розовеющей, сбежала — болят распухшие губы, и тело болит, в пятнах руки. И чудится ей, что далеко за дождем, за ветром и каплями, звон появился. И не много колоколов перезванивают, а один, тихий такой, грустный, ударит — и легкий, отслоившийся от обветренной колокольной меди звон тенью скользнет над землей и в город влетит, закружится над домами. И

дождь стучит по нему, сбивает каплями, пока совсем не замочит, и, отяжелевший, он с каплей вместе не ударится Марусе в окно; тут и затихнет.

И слышит Маруся, как жизнь в ней затихает. Догадывается, откуда звонят, и вовсе тогда обмирает. В церкви той звон, где ночью была.

По отцу ее звон, что завтра умрет...

Глава пятая

Борька по улице брел, считал в домах окна. Мало окон на серых стенах, а какие и есть, как темные щели — копошатся в них люди. Весь город в них копошится. И Борька в таком жил, грязном, темном, пока не выгнали. Куда теперь?

К Ефиму толкнулся, друг ведь, приятель. Да где там — отвернулся Ефим, оказалось, и не друг вовсе. И как быть тут другом, когда не люди — квартиры здесь дороги. Люди что, какая с них польза? За прописку женятся, пишут доносы, за комнату убивают.

Была и у Борьки прописка, счастливым он был — на заводе работал. И деньги есть, и крыша над головой — что еще надо? И не в общежитии каком жил, а комната была. Своя комната. Жениться мог, жену привести, и жену бы его прописали. И была бы семья у него. А ребенок родился, на очередь в исполком бы поставили. И то, не велика у него комната — девять метров, могли и поставить. А там... Борька даже не думал об этом, и так хорошо было.

Нравилась ему одна девушка, да не одна — многие нравились. А Маруся больше других. Красивая — ничего не скажешь. Да подвернулся этот — в красной рубаше, остался Борька ни с чем. А сейчас и комнату отобрали, потому — с работы уволили.

Рассказать кому — не поверят. Семь лет на заводе работал, семь лет норму свою выполнял. Да не просто выполнить, перевыполнить надо, и то делал. Честно

заслужил и прописку и комнату. И на мебель копить уже начал, и пропало вдруг всё.

Рассказать кому — засмеют, не поверят, а Борька вот он — без работы, без комнаты. В семь лет ни разу не опоздал к рабочему месту, и всего-то, что за город ехать, урожай картофельный убирать отказался.

— За меня работать небось из колхоза не едут, — рассудил, посмеялся и не поехал, когда другие поехали.

Месяц работал, как прежде, месяц заводская бригада его под дождем в полях надрывалась. Лопатами урожай из земли вырывали, а кто и граблями — не всем хватило лопат, и тут же руками сбивали грязь с клубней, в мешки складывали. Громадные мешки, бугрятся серым холстом на черной мокрой земле, а кто их везти будет, если дороги нет? Если машина по деревне еле ползет, грязью закидана вся, а за деревней и вовсе в грязи пропадет, в земле скроется? Так и волокли мешки до деревни.

Злые из колхоза приехали, а в городе им рай показался. И долго еще, Борька видел, ходили по городу, и расплывались в улыбке их лица: радовал асфальт под ногами, дома кирпичные и колбаса в магазине. А на Борьку глядеть перестали, презирали его за «предательство». Будто собрали их и посадили в тюрьму, за что — неизвестно, только Борька-доносчик на воле остался. Как такое простить?

Больше других мастер его не взлюбил, хоть и сам никуда не поехал. И работа у Борьки хуже пошла — сложная, а платят мало. Это уж как мастер захочет.

Долго мучился Борька, не выдержал и в завком пошел жаловаться, правду искать. И нашел, что с работы выгнали, без прописки оставили. Добился.

Брел по улице Борька, считал окна в домах. Мало окон на серых стенах, а какие и есть, как темные щели, — копошатся в них люди. А жить негде — хоть бритвой по горлу.

Вышел из города Борька, выбрался на тропинку.

Куда его приведет? Идет Борька, слева — овраг шумный и темный в дыхании ветра, трепещут в нем влажные тени кустов. За оврагом, далеко внизу, крыши лоснятся под солнцем, сады неподвижно топорщатся ветками. Справа — луг, как шапка с мехом зеленым, выгоревшим от жаркого солнца.

Изогнула тело свое земляное тропинка, отодвинулся склон и овраг, луг пропал за кустами, явилась церковь. Белая, светится в солнце, полыхает в небе крест золотой, жаром трещит.

Подошел — заперты двери, и народу нет, только на паперти, на теплом истертом камне старушка. Маленькая, комом тряпичным, обыкновенная, только странно глядит.

— Здорово, бабусь! — сказал и только сейчас заметил, как тихо вокруг, птицы молчат, листом обратившиеся, не шуршит стрекоза тонким слюдяным крылом, не стрекотнет кузнечик, сам, как лист, на длинных механических ногах. Нет того шума, что день — днем делает, тихо, как ночью, вокруг.

Улыбнулась старушка в ямах изрытыми деснами:

— Здравствуй, внучек. Что невесел?

— Дак с чего тут веселиться, бабусь, с работы выперли, жить негде — горе одно.

— Горе? Нет, внучек, это еще не горе, — засмеялась старушка. — Горе потом будет, когда я к тебе приду. А ты сам пришел, наведалься. Какое тут горе? Раз пришел, так и уйти сумеешь, и Горе тебя не удержит.

— Так ты, бабушка, Горе?

— Горе, внучек, Горе, да ты не бойся, не сама я — люди меня такой сделали.

Посмотрела старушка на запечалившегося Борьку, опять улыбнулась:

— Погоди тужить, слушай, что расскажу...

Кинулся и смял траву ветер, тугой уперся в Борьку и волос его подхватил. Зашумели, задвигались тени,

и церковь разом наклонилась и пропала с колоколами, старушкой и папертью... Высоко в небе шапкой пронесся луг.

Борька увидел себя в темной квартире, где лип к стенам запах рыбы и жареного сала, гнулся, вытрескивал пол под ногами, а в забитых жирной грязью щелях вздрагивали тараканьи усы. За рванью старых обоев долго звякали железной струной и хлопали плотно, как в чемодан, и ворочался пьяный, с мокротой голос:

Ти ж мене підманула,
 Ти ж мене підвела,
 Ти ж мене молодого з ума-розуму звіла...

Второй — бабий — хохотал, говорил «ну», чмокал что-то.

— Что «ну»? — оборвал песню, харкнул первый. — Сука ты, Дуська.

— Ну, ну, — не сердился бабий, — не шуми, кобелек синенький, — и опять долго смеялся.

Ти ж мене підманула,
 Ти ж мене підвела...

Скрипнуло — попрятались тараканьи усы, по коридору на кухню прошла женщина, прижимая руки к стираной, исштопанной кофте, боязливо пригибая голову в белом платке. Вздохнула, проговорила что-то и, сняв крышку с кастрюли на плите, вздрогнула бледным старым лицом: в кастрюле, в жидком супе с редкими листьями капусты, плавала мышь.

Замутились слезами источенные глаза, заплакала. Сгорбившись, пошла в комнату. За что же? Ведь больная она, на последние деньги вилок капусты купила, еле стояла, суп сготовила. Думала, поест горяченького — может, легче станет... И мышь положили...

Срывались и падали тяжелые слезы. Но до комнаты своей не дошла. Лязгнула железом в последний

раз струна, и закрипела, разворачиваясь, обитая рваной клеенкой соседская дверь.

— А-а, гуляешь, старая, — вышла баба с опитым лицом, платье расстегнуто, и колышутся рядом с пуговицами мясистые груди. — Квартиру, ведьма, когда убирать будешь? Или я за тебя буду?

— Гриша, — позвала в перегарную темноту. Вышел перекошенный хмелем Артищев в голубой майке на волосатом теле и синих милицейских галифе.

— Вот она, кляча старая! Видишь, и не убирает, всю квартиру загадила.

— Больная я, — ответила, прижала руки к сухому, вдавленному рту.

— Больная? — Артищев прищурился. — Дура ты, бабка. Если больная — в дом престарелых тебе надо, а ты за комнату цепляешься, людям жить не даешь. И что с вами цацкаются... — Хлопнул по гитаре, оскалился зубами на темном лице. Баба, зевнув размазанной пастью, вышла на кухню и подняла крышку:

— Гляди-кась, мыши к ней уже в кастрюли лезят, — хохотнула, присела, мокро шлепнув себя по бедрам.

Толкнуло слезы рыдание, бросилась к своей двери, но Артищев не пустил, встал, раскачиваясь с пяток на носки, преградил дорогу.

— Ты, бабка, не бегай, от милиции не убежишь... — говорил серьезно, хмелем косили глаза. — Добром говорю: сама не съедешь — я выселю, гляди... — схватил за плечо, тряхнул, вторую руку сжал в кулак, темный, прокуренный, с вздувшимися горбами вен.

Без памяти в комнате заперлась, и сил больше не было, слезы давили. Упала на кровать, покрывалом с пастушком и пастушкой крытую — мужа подарок, и затихла.

В дверь ударили кулаком:

— Смотри, бабка, помни, что я сказал.

Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела...

Борька в кухне на табурете сидел, раздумывал. Глядел в мутное от пыли и высохших брызг окно, куски моря между домами разглядывал и дома белые — из ракушечника. Даже надпись одну разобрал, кажется — «Керченский горисполком». А может, и другой какой, кто его знает. Встал, отчего город за окном и море качнулись вниз — в пыль, и, подойдя к плите, снял кастрюлю и вылил в помойное ведро суп вместе с мышью.

Бабы и Артищева не было, только тараканы шуршали, в щелях шевелились. Борька отрезал себе черного хлеба и, посыпав мокрой солью, сжевал, крупно глотая. Больше ничего трогать не стал.

Шумело за окном кусками битое море, качались эти куски.

Где-то близко, самые стены подперли — пьяные голоса, шаркали, сбивая камни, чьи-то подошвы.

— Синее море мо-е... — Появилась баба, совсем уже пьяная, с двумя матерного вида мужиками. Прощатнулась по коридору, чуть не сбив Борьку, выглянувшего из кухни.

Самое че-рное в ми-ре...

Ввалились в комнату, звякнули стеклом, плеснули, чуть погода завозились...

Уходили мужики утром в редко расставленном сумраке мимо соседской двери. Ругались — баба не пошла провожать, злились чего-то. Один качнулся, встал, уперевшись в стену спиной, и, вычиркнув из коробкá огонь, прикурил.

— Так вот она, падла, — на дверь посмотрел соседки, про которую рассказывала баба. — Ну, тварь, — и пнул каблуком в беленую мелом фанеру, — выходи, собака...

— Брось, — успокаивал второй, — хрен с ней, пойдём.

— Нет, погоди, — и снова ударил вскользь каблучком...

Ушли... Много народу ходило.

Трудно и тяжело написала жалобу. Плакала, защитит просила. Ведь некому ее защитит — и муж и сын на фронте погибли, и сама инвалид — помогите! Да кто поможет, если у самой сил нет? Жалели ее соседи по улице, а кто станет с милицией спорить, кто против пойдет?

Вызвали ее в отделение. Не знала, что делать, пошла. И Борька за ней, хорошо, что не видно.

— Вы что же наших сотрудников черните? — спросили. — Кляузы во все инстанции пишете, честное имя граждан позорите. Думаете, с рук вам это сойдет?

Стояла, не знала, что сказать, вымолвить даже.

— Не надейтесь. Предупреждаем: повторится — к ответу привлечем.

...Вежливо так говорили.

— Да за что же? — только сказала, сама поняла — не то говорит. И Борька понял, бросился спорить, доказывать. Да где там — не видят его и не слышат. Хоть и вот он — тут, перед ними. Так и вышли ни с чем.

А дома соседка:

— Ну что, сходила, кляча? Выкусила? Вот они — твои жалобы, — достала мятые письма ее, стала рвать, — вот, вот, гадина.

Смеялся зубами из темноты Артищев, кокарда торчала с фуражки.

Плакала — кто же защитит, если у самой сил нет? Самой себя защищать, а как?

Утром, только баба ушла, дверь закрыла, заперла на задвижку — пусть теперь мужиков приведет. Дро-

жала вся. Когда по ночам за стеной матерились, грозили убить, не так в горле стучало, обрывалось внутри, как теперь. Ждет, а что будет? Заперлась в комнате, на кухню выйти боялась, так и сидел там Борька один, тоже тревожился. Мутно пылилась лампочка под потолком, город в окнах стоял — ждали.

Грохнуло на лестнице, железом повернулся в скважине ключ. Замер, опять завертелся. У Борьки сердце запрыгало...

В дверь навалились:

— Эй ты, открывай...

Соседкин голос кричал, другой — низкий, рядом говорил коротко и, сказав, пропадал за дверью.

— Открывай, говорю! — дрогнули истрескавшиеся доски, мусор посыпался из щелей. — Шкура сучья.

Кто-то шаркнул подошвами на весь подъезд и тяжело затопал вниз по ступеням.

— Стой, да куда ты? — крикнула баба. — Да постой...

Мужик снизу гулко выругался так, что пронеслось по всей лестнице и хрипло выругалось на чердаке, ударила наружная дверь.

— Ну, стерва... — Опять застучали, и голос в коридоре метнулся.

Лежала на кровати, в комнате запершись. Выгибалось под ней покрывало и вздрагивало — дрожала вся. И не рада была, что бабу сейчас не пустила. Стучал будильник на тусклой, салфеткой покрытой доске комода. Что будет?

Вдруг мелькнуло что-то в окне, выбило стекло звездой, и осколки посыпались, вызванивая на полу, по которому гулко перевертывался камень.

— Ну, стерва, ответишь за все! — донесся снизу, уже за окном, голос соседки, — век вспоминать будешь...

На другой день в комнату постучали. Задвижка у двери открыта была, и свободно могли войти, и слышала, как прошли по коридору — соседка, думала. Но когда к ней постучали, поняла, что кто-то другой — вежливый, настойчивый стук.

— Кто там? — спросила, а сама уже открывала.

— Из санэпидемстанции, тараканов морить.

— Сейчас, сейчас, — открыла; темно в коридоре, и два белых халата, как саваны, пустые висят — санитары. Здоровые оба. Сначала и не догадалась, хоть сжало тревогой ее, а когда назад прынула — поздно было, схватили.

— По-мо-ги-те! — крикнула, как убивают. А кто поможет?

Один Борька в темноте заметался. А что сделает — не видят его и не слышат.

Вывели на улицу, заскрипела, лязгнула тяжелая дверь, и повезли безумную в дом для безумных. А какая она безумная?

Случилось, как редко бывает, — выпустили. И держали недолго — три дня, и мучить не мучили. «Нервная система истощена, — заключил доктор, — покой нужен». И другие с ним согласились. «Но человек перед нами в здравом уме и памяти», — уточнил, и другие спорить не стали. Даже шизофрении не нашли, что совсем удивительно.

Выпустили и даже справку дали, что нормальная, чтоб опять не возили. Случилось, как редко бывает. А сама понимала — недолго ей, и так с ума повернется...

Пешком через весь город домой добиралась. Зашла в квартиру — выбит замок у двери и фанера проломлена.

— Да что же это? — В комнате всё перевернуто, все вещи измяты, разбросаны, нет покрывала с пас-

тушком и пастушкой — мужа подарок, и вазочка зеленого стекла разбита, осколки с пола глядят.

— Да что же это... — Осколки взялась собирать, да разве склеишь.

Борька в коридоре стоял и смотрел на нее, и давило, резало что-то в груди.

Пронеслась по коридору соседка, сквозь Борьку, только на миг дышать стало нечем, прямо в комнату шагнула:

— А-а, кляча, выпустили, значит. Ну ничего — отсюда теперь уберешься, выписали тебя, курва старая!

Обмерла и не услышала даже, что ей сказали, до того испугалась.

— Собирай барахло и выкатывайся. Не живешь ты здесь больше. Слышишь, что говорю?

— Не имеете права, — губы сами сказали. — Кто вам право дал издеваться над старым человеком?

— Что? Поговори мне еще, — скривилась баба и толкнула в грудь, — поговори.

Не удержалась, зацепилась ногой за что-то — упала. Не было сил подняться — заплакала тихо, старческой мутной водой.

— Повой, стерва, будешь знать...

До вечера так пролежала. Несколько раз как проваливалась и плыла тихо и мягко в плотной черноте... Опять на досках, среди вещей разбросанных, оказывалась.

Огнем и пожаром солнце закатное окно выжигало, злое висело у самой земли. Кривились, кровавились стекла, выбрасывая из себя куски отражений: то пол, то ящик комода — и падали на серые стены. Страшно и холодно выязвленным глазом поворачивалось выбитое камнем стекло.

Ночью ветром подуло, пришла в себя, поднялась. Ходила по комнате, спотыкаясь о выброшенные вещи, хрустя и вызванивая битым стеклом. К двери подошла,

накинула крюк и темной тяжестью комода задвинула — откуда силы взялись? Сжалась вся и застыла рядом. Так до утра просидела...

Не шевельнулась, не дрогнула, когда в дверь, чего ждала, ударили.

— Открывай, бабка, милиция, — плотными головами кричали за дверью — Артищев кричал и другие.

Сидела, не дрогнула. Крепко ударили в дверь сапогом.

— Ах ты, дерьмо старое, — удивился Артищев, — представителям власти сопротивляться? — и забили, заударяли — грохот по всему дому вместе с пылью поднялся. Выгибалась, трещала дверь в этом грохоте. Выдержала, хоть и выгнулся крюк.

— На себя тяни, — командовал Артищев, — раз... — долго-долго затрещало в доске и оборвалось, упало что-то. Мат по квартире разнесся — вырвали дверную ручку. Теперь совсем не открыть.

Стихло за дверью, последним Артищев выругался, прошипел что-то... Загрохотал, выстреливая, мотоцикл за окном, и долго еще слышно было, как мчался по городу. Пропал и снова появился, всё громче выстреливая...

Вдруг потемнело — в окне возник Артищев, блеклый, выкривленный стеклом, с яркой пуговицей, где стекло выбито. Фуражка над городом вознесена, закрыла полгорода и море закрыла красным околышем.

— Власти сопротивляешься, — прохрипел, схватился за раму и двинул в стекло сапогом, — так-то...

Еще голова в фуражке показалась и еще... Артищев уже в комнату влез, сдерживался, на старуху не глядя, к сундуку подошел, щерился только. Рывком распахнул и последнее, что было, вышвыривать начал.

Еще двое влезли, взялись помогать: отбросили комод от двери и дверь распахнули.

Артищев сундук опрокинул, а когда вещи комом собрал и к окну пошел — не выдержала.

— Бандит! Что ты делаешь! — бросилась к нему, вцепилась в старые платья и мужа костюм, так ни разу им не надетый. Сама ему покупала, сделать подарок хотела. Так и не сделала, только ночами над ним плакала.

— Паскуда драная, — озверел, не выпуская кома, развернулся, ударил ее всем телом... Сорвались с места и стены и потолок — на полу очутилась, и кровь на губах темная — в лицо ударил плечом.

— Так ей, заразе, — усмехнулись двое других.

Артищев уже не ходил — метался по комнате, выбрасывал за окно, и разлетелись по ветру вещи.

— Ну, что вы там возитесь? — подскочил к комоду, отпихнул возившихся милицейских, никак не умевших протолкнуть его в коридор. — Так надо! — Вцепился в комод и, разбивая пальцы о косяк, выбил его из комнаты, за сундук взялся...

Поднялась, опять бросилась, не в вещи — в лицо ненавистное вцепиться хотела. Увидел — ударил кулаком в голову и в живот сапогом. Охнула так громко и страшно, что сам отпрянул, а другие замерли, переглядываясь.

Захрипела, лицом в истоптанные доски свалилась.

— Эй, — испугались дружки, — убил, что ль? — Один фуражку снял, лоб рукавом вытер, другой в коридор отступил.

— Охерели, — сипло сказал Артищев, — что ей делается.

Подошел, за руку взял — теплая, бьется жила. Усмехнулся деревянным ртом:

— Живая, не бойсь.

— Что встали, красавчики? — баба вошла, подрагивая толстой щекой.

— Да вот, — один указал на старуху.

— И только-то? — засмеялась. — Испугались уже, храбрецы. Да не волнуйтесь, сейчас личико ей, паскуде, умоем.

Легко подняла старуху и вывела на кухню...

Вынесли на улицу, в пыль и камни, сундук и кровать, и комод исцарапанный. Сверху тряпки свалили. Артищев замок новый достал, липкий, пахнущий смазкой. Заперли, опечатали дверь и сами ушли. Тихо стало в пустой запертой квартире, только будильник соседкин в комнате у бабы шелчками стучал.

Задвигался, заморщился цемент в стене пустой опечатанной комнаты, вышел из стены Борька грустный, серый совсем. И злоба душит, и стыдно самому, что милиции испугался. Хоть и чем бы помог?

По комнате прошел как провеял. Пустой пол, только битые стекла на нем, и лента белая у окна, зацепилась за гвоздь, колышется...

В мокром платье, с разбитым лицом, по улице шла, шла и не видела: трусливых лиц соседей, их жалкие, бегущие набок улыбки, и слов не слышала тихих, жалеющих ее и себя, и домов их не видела, жмущихся от дороги, и города не замечала рядом с морем разбитым. Шла...

На другой день одумалась, решила в больницу идти. И подлые люди, а жить надо. И в больницу пошла следы побоев, ей нанесенных, свидетельствовать. Осмотрели ее, жалели и справку написали тут же о синяках, кровоподтеках, ушибах. Долго писали. А доктор жалел.

Из больницы со справкой в милицию пошла, суда требовать.

— Суда? — хохотал начальник, и красным шея пылала. И строго взглянул:

— Ты суда захотела? Будет тебе суд, за всё перед государством ответишь...

Темно и холодно в камере. А зачем ей свет? Не

преступники, ее истязавшие, а она арестована, она под стражей находится, она за решёткой. Да как же это? В своем ли она уме? Не чудится ли ей? Нет, всё тут: и решётка, и камера с изгаженным полом и мокрыми стенами.

А днем жарко, дышать нечем. И еще больше холодеют, дрожат старческие ноги. Нет, не чудится. Не она — ее судят. Господи, да что же это?

— Отписалась, отжаловалась, хрычовка, — скалился надзиратель. — До ЦК дойти успела, осталось Никсону написать, может, он тебе поможет, — смеялся, давился хохотом. — Или в ООН напиши, тоже полезно...

Дрожит, сжалась вся и есть отказалась.

— Голодовку объявила, — и хохот в горле колом стоял, душил надзирателя. — Молодец, прибавку в мой карман организовала... дура.

Тут же еду перестали носить, сама проси — не допросишься.

Темно и холодно в камере. А днем жарко, дышать нечем. А зачем дышать? Не она — ее судят. Господи, да что же это?

Больная — девять дней не ела, не ходила — лежала на гнутых занозистых досках. Хоть и запрещено днем лежать, да смилостивились, ей разрешили, после того как сутки на каменном полу пролежала. Теперь на досках корчится, кашляет всё. Голодает она, а кому про это известно? Никому, и дела нет никому, хоть умри здесь. «Старая, — скажут, — вот и сдохла. Давно пора».

Плачет.

На девятый день в суд вызвали. Отказалась идти, да и согласилась бы, идти не смогла — ноги ее не держали. Не смутились, носилки достали, понесли на носилках. И в суде не удивились, видно, часто к ним носят. Только конвоиры посмеивались: «Смотри в оба, а то убежит старуха».

Потерпевшая тут же, одна баба. Артишев не пришел даже. А что приходит? Начали читать, много читали, всё вспомнили: и антиобщественное поведение, издевательства над соседкой, и антисанитарное состояние комнаты, и клевету на работников милиции и других ответственных работников, и отказ подчиниться работникам милиции, и даже прямое на них нападение... Много читали.

Кружится всё: бабу несет к потолку, и судьи вместе со столом и огромными стульями вниз провалились, в темноту под окном...

— Сиди, — подошел сзади милиционер, за плечо взял, чтобы на скамью не упала, на которую с носилок ее посадили, не вытянулась, как на носилках. Крепко держит, не крикнешь, не вырвешься.

Посторонних не было в зале, то ли просто никто не пришел, то ли так — никого не пустили.

Ждала, что ей слово дадут, — не дали. И не спрашивали даже ни о чем. Да и о чем ее спрашивать?

— Сказать хочу! — крикнула, когда поднялся суд, удаляясь на совещание.

— Никто вам слова не давал, — обернулся один, что помоложе, в очках. Остальные уже вышли из зала, и этот пустился за ними.

— Сиди, бабка, а то рот заткну, — рванул за плечо милиционер, — смирно сиди...

— ...Суд, рассмотрев дело гражданки Осиповой Александры Константиновны, приговаривает гражданку Осипову Александру Константиновну...

Черным стал зал...

« ...и приговорили меня тем судом к лишению свободы сроком на три года условно. И жить мне теперь негде и не на что. Пенсию мне, раз я непрописанная не платят и существовать мне больше нечем. Как мне дальше жить? Ночую у соседей, да и то не всегда пускают когда и не пустят. На вокзал хожу и там меня уже знают, дежурный прогонять велит. Муж мой и сын оба погибли в войну с фашистами и я инвалидом сделавшаяся осталась совсем одна,

не кому меня защитить. За что они погибли? Чтоб жену и мать их угла лишили? Все эти годы я боялась соседки и многих других злых людей боялась теперь я ничего не боюсь. Пусть меня лучше посадят, будет хоть крыша над головой. Хоть кормить как-то будут. Буду знать я сама что страдаю невиновно. Если бы знали видели муж мой и сын что власть, за которую погибли делает со мною. Чем эта власть тогда лучше фашистов которые врагами были? Прокляли бы они эту власть как я теперь не боюсь больше, проклиною. Где те партийные, про которых в книжках пишут. По-няла я, нет их — подлецы одни...»

— Так, так, — не удержался писатель, разом вспотев и проводя ладонью по седой голове, — до чего договорилась...

«...Фашисты враги были и если убивали то врагов. Меня своя власть из дома выгнала, бросила на смерть. За что? За то что я сорок лет работала, инвалидом сделалась. Соседка теперь одна всю квартиру занимает. Добилась чего хотела. У нашей власти чего честным трудом в жизни не добьешься быстро получишь воровством и убийством. Да да, убийством и не одного а двоих человек. Это я знаю точно что было. Соседка моя раньше вовсе не прописанная была и комнату снимала у двух старушек учительниц. И через месяц одну в городском парке зарезали. Ограбили говорят. А еще через два другая ее сестра утонула хотя и старая была и в море не купалась. Соседку уже тогда вся милиция знала многие ходили к ней хороводились. И дело закрыли, сама говорят утонула. И комнату ей отдали а потом ко мне подселили. Так как я одна в квартире была и площади много. Не положено сказали. Участковому я тогда говорила об убитых и в область писала об этом, и заместитель главного прокурора обещал расследовать. Да так и не расследовал и на письма не отвечает, говорят больше там не работает. Видно и его как честного человека куда-то упрятали. Наша власть честных не любит, воров любит убийц...»

— Ну, вот и видно, что сумасшедшая, — облегченно рассмеялся писатель, — куда ее занесло, — и густой желтый свет от настольной лампы качнулся по его немолодому лицу, так хорошо знакомому всем телезрителям.

За его тенью Борька стоял, другой, серый совсем Борька, всё видевший и страдавший за всё. И на суде он был, и по вокзалам скитался, стоял теперь за плотной тенью ответственных работников, письмо вместе

с ними читал. Да разве одно такое письмо? Сотни, тысячи писем кричали, выли дикими голосами. Каждый день — тысячи! Не ответишь на всё и не каждое прочитаешь. Что делать? И строчат, отписываются гнутые люди за конторскими столами, отписываются от беды. И мчатся, возвращаются назад письма, тому в руки, на кого жаловались, «на рассмотрение». Беда стеной поднимается...

Человек поправил лампу, и свет шатнул его тень в сторону.

— Так, — читать дальше не стал, заглянул в конец:

«...Приезжает летом и ходит у нас один старик. Всю войну отвоевал, партизанил, два раза в лагере фашистском был. Здоровым вернулся на родину из Германии плена. И посадили его на десять лет, калекой сделали. Свои изуверы хуже фашистских. Теперь выпьет он плачет и кричит в полголоса Хайль Гитлер. В полголоса кричит, потому — в полный голос у нас ничего кроме матерщины кричать не дают. И мне теперь после всего что надо мной сделали крикнуть хочется Хайль Гитлер.

КОПИЯ

Верховному
Совету

Центральному
Комитету

Союзу
писателей».

— Ну, вот и видно, что сумасшедшая, — повторил писатель и вздохнул: — Надо бы статью дискуссионную поместить в «Литературку», ведь сколько еще у нас всякой неразберихи, неполадок... Да-а, вот и пишут такие письма. Обидели, видно, второпях человека, бездушно к нему отнеслись, на больном воображении это и отразилось. Написать надо, пусть в больницу какую устроят, человек же, по совести надо.

И успокоилась чуткая к бедам народным писательская совесть, отправился обедать писатель в Дубовый зал писательского ресторана...

Кинулся и смял траву ветер, тугой уперся в Борьку и волос его подхватил. Снова белая церковь светится в солнце, полыхает в небе крест золотой, жаром трещит. И старушка на теплом истертом камне,

маленькая, комом тряпичным, на Борьку глядит:

— Понял теперь?

— Так это, бабушка, Горе было?

— Нет, внучек, Горе со мной было, в меня вошло.

Горе — когда сердце тебе выгрызают. Всё у тебя: и дома тебя никто не лишает, и работы, только над сердцем твоим надругались, сердце отняли. Это — Горе. А что ты видел — Беда!

И понял Борька: не женщина старая ходит по городу, на вокзалы просится — Беда уже! Беда растет, Беда стеной поднимается.

Глава шестая

Умер отец. Бледный лежал в гробу и вздрагивал, когда ходили по комнате. Маруся и мать ходили — никто не пришел, даже родственники. Высокий гроб на столе, окно в головах, и лицо воском бледное на лбу и щеках и черное во впадинах глаз и чуть разверстой щели рта.

Из районной больницы приезжали, засвидетельствовали смерть, и опять пусто и тихо, только покойник на столе, вздрагивает, когда ходят. Газета лежит на диване — некому ее больше читать, рядами сдвинулись строчки.

За окном смутно и далеко ударил звон, опять в церкви той, что за городом. Тихий, редкий совсем, весь день и всю ночь звон этот Марусе слышится, будто не человек там, а ветер звонит в черный колокол.

В городе хоронить отца отказались, сказали, что негде взять мест. Все кладбища переполнены — своих класть некуда. А у покойного, как на грех, и родственника нигде не зарыто, чтобы к нему положить — к родственнику. И плакать, просить даже нечего, придется в поле хоронить, на новом кладбище, что вздувается землей, колосится крестами, где и деревца ни одного и травы нет — земля одна ржавеет железом.

Маруся в контору ходила, договорилась — завтра хоронить будут. И деньги уплатила за место и расписалась, где надо, где пальцем ей указали.

Обратно по городу шла медленно, домой идти не хотелось. Хоть и знала, что мать там одна и ждет ее, да не смогла пересилить себя — завернула к подругам.

— Маруська, молодец, что зашла, — встретила, заулыбалась Ирина и, как показалось, с досадой какой-то глянула из-под сбивающейся на лицо белой пряди волос. — А у нас тут компания целая, гуляем...

Сразу хотела уйти, да неудобно было. Улыбнулась через силу и за Ириной пошла, стройной, высокой на крутых каблуках.

— Прошу любить и жаловать! — крикнула Ирина.

Вошла — и света не стало, вытек, вылился на пол из тусклой лампы в углу и двух свечей в медном подсвечнике — среди парней и девчат Нечистый сидел, пылала адовым костром рубаха, и карты в руках шелестели, с треском летели из ладони в ладонь.

— Здравствуй, Маруся, — оскалился, мелькнул широким клыком, — а я тут фокусы показываю, гляди...

И быстрее затрещали, полетели карты и замерли в одной руке, сбившись в колоду.

— Тяни теперь. — И Марусе колоду протягивает, чуть усмехается.

Не помнила, как взяла карту, к себе повернула, и замерла, задрожала рука, и карта выпала, закрутилась, заскользила по воздуху, поплыла прямо в колоду к Нечистому — отец ее на той карте, бледный, в грубу лежит.

— Угадал? — и смеется.

— Чего угадал? — спросила Ирина, ласково на Нечистого смотрит. Хороший, веселый парень, как не смотреть? И прядь волос поправляет, юбку на полных бедрах разглаживает.

— Она знает, чего, — усмехнулся, посмотрел на

Ирину. Млеет та и не слушает, что ей отвечают, ласково на Нечистого смотрит, вся к нему подалась:

— И мне погадай...

— Сейчас, только слово подруге твоей скажу, дело есть.

Взял Марусю за руку и, отвернувшись от обиженной Ирины, в сторону отвел, опять колоду достал.

— Была той ночью в церкви?

— Нет.

— А видела, что я там делал?

— Да нет же, — еле сказала...

— Ну, тогда еще один фокус увидишь, — и карту ей подает. — Сама захотела...

Глянула — мать на той карте в гробу, только не бледная — с синим лицом. Не могла дольше смотреть, жгло всю, качнулась, закрыла глаза...

Из темноты женщина явилась, наклонилась и что-то сказала ей разбитыми в кровь губами.

— Ар-ти-щев! — повторила Маруся и раскрыла глаза.

— Что? — отшатнуло Нечистого, погасли обе свечи, дымом вычерчивая в темноте, и Нечистый пропал...

— Где он? — подбежала Ирина. Так громко спросила, что Ефим перестал что-то рассказывать худющей своей подруге, привстал, завозился в карманах — спички искал.

— Ушел, — только и ответила Маруся и сама к двери пошла.

— Ты... такого парня прогнала, — прошипела рассерженная, — не ходи сюда больше... дура.

Хлопнула дверь, зазвенев цепочкой по железным замкам.

Шла к дому, и идти не хотелось, хоть и знала, что мать там одна и ждет ее. Но как ни медленно шла, выпутывался дом из косых переулков и улиц,

из города выпутывался и к ней подвигался, с углом серым на перекресток, трубой и антенной ржавой, и отцом мертвым с окном в головах.

А когда к дому совсем подошла, Борька попался навстречу. Стоял под мокрым фонарем, как под деревом, и тоже, казалось, навстречу вместе с фонарем и дорогой к ней шел.

Посмотрела и не сразу узнала, только подумала: «Борька?»

— Я это, Маруся, — сказал Борька, серый совсем, и страх ножом глаза изуродовал.

— Что с тобой, Боря? — Тронула за руку — холодная, как фонарь, под которым стоял.

— Видел много, Маруся. Раньше слышал только, все мы слышали и сами, случалось, рассказывали что... А теперь видел... — и замолк, сглотнул набежавшее слово.

— А у меня отец умер.

— Отчего? — так спросил, о другом думал.

— А кто же его знает, врачи после приехали, говорят — сердце, — и пошла скорей к дому — про мать вспомнила, затревожилась. И Борька за ней.

Поднялись по лестнице, позвонили. Тихо за дверью, не скрипнет, не шелохнется ничто. Так тихо, что упала капля из крана на кухне, казалось Марусе, — услышит.

— Куда это она? — торопилась, рванула сумку и, смяв документы, что в контору носила, достала ключи, стала дверь отпирать. Открыла, и вторую дверь в комнату открыла...

Мать повешенная на веревке висит.

Темно в комнате, синий воздух сгустился, и в воздухе том ее темное тело как вмерзло, не качнется, не дрогнет. Только черная трещина веревки воздух синий, замерзший колет, режет комнату и в матери тело вошла...

Два покойника в доме. Рядом два гроба стоят. Пока живы были — «маленькая» матери отец говорил. А в смерти равными стали. Два гроба одинаковые стоят, только у отца лицо белое, а у матери синее, с черными губами раздувшимися. И цветов у матери больше.

Настежь распахнуты двери, и люди входят, выходят, всё больше старухи какие-то. Обмятые, все в черных платках и юбках обвислых. Которые у гроба стоят — воют, причитают громко, имен покойных не называя, так воют, мать — «голубкой» зовут. Другие молча стоят, концы платков черных к глазам прикладывая, какая вздохнет, а сзади которые, так те разговаривают, шушукаются между собой.

Повоют — отойдут, и другие воют, те, что сзади стояли, шушукались. И каждая цветочек положит, который живой, а больше бумажный. Много цветов, а все бумажные. Тоскливо и тяжело от них.

И Борька тут же сидел, в углу дальнем, глядел в старушечьи спины, и страх его вытрясал, уродовал глаза и лицо. И казалось Борьке, что и его в гроб вгонят, засыпят цветами бумажными, что земли тяжелей, и выть над ним будут. И сердце ему выгрызут, скитаться по вокзалам заставят, и снова в гроб вгонят, засыпят цветами бумажными, что тяжелей земли, и выть, выть над ним будут, пока Страшный суд не придет.

— Господи, — шептал Борька, — только тихо сидеть, чтоб не заметили, и молчать, молчать всегда — пусть что хотят и с кем хотят делают. Только тихо сидеть...

Два милиционера вошли, помявшись сняли фуражки, протиснулись к покойникам.

— Н-да... следствие вести будем, — сказал один, — похоже на умышленное убийство... из-за комнаты.

— А что, жилплощадь — первое дело, — тише сказал второй, глазами указав на Марусю, бледную,

без слез стоявшую в темной толпе старух. — Могла и убить, сколько случаев было.

— И этот с ней был, — вспомнили о Борьке и Борьку стали разыскивать, — сговор у них.

Сейчас Борьку найдут...

— Боря, — услышал Марусин голос, — что с тобой?

Открыл глаза — Маруся склонилась над ним, и покойники в доме, и старухи воют, только милиции нет.

— Душно тебе, выйди на улицу, постой там.

— Да, да, — согласился, поднялся на слабые ноги и в дверь пошел — скорей отсюда бежать. И на Марусю не глянул, любил когда-то которую.

— Боря, Боря... — прошептала Маруся, и слеза покатилась. Выли, выли в доме старухи...

Едва Борька на улицу вышел и на черный асфальт наступил, как двое в штатском к нему подошли.

— С нами пройдемте, — сказал один и руку в кармане держал, а второй удостоверением полураскрытым в лицо Борьке сунул. Ничего Борька не увидел, только галстук узенький со стеклышком посередине, какими цыгане на переходах торгуют. «Наверное, у цыган отобрал», — отчего-то подумал и с ними пошел, обрываясь от страха.

Еще двое в машине сидели.

— Этого везите, — сказал с галстуком и отвернулся от Борьки. Дело свое сделал, зачем ему Борька?.. Уехали.

Допрашивали Борьку и признаваться велели, что убил.

— Мы понимаем, не один ты убил, — спокойно, даже ласково следователь его уговаривал, — а вместе с дочерью убитых. Она тебя и подбила на это, ведь так?

Молчал Борька и хотел бы сказать — не мог, страх речи лишил.

— Ну, так как же? — Кивал конвоиру, и сзади тот подходил и бил, не сильно бил, а как бы случайно, не замечая, что бьет. А Борька от страха весь затвердел и боли не чувствовал, другого ждал — другого боялся.

— Человек ты слабый, морально и политически неустойчивый — вот на жилплощадь и позарился. — Следователь вышел из-за стола, остановился перед Борькой. — Помнится, и в колхоз в свое время не поехал, картошку убирать отказался, ведь так? — Посмотрел, даже жалея как будто. — А ведь жрать эту самую картошку небось любишь, а? — И задумавшись, не глядя на Борьку, ударил ладонью по носу...

— Выходит, другие за тебя работать должны, а ты, значит, трутнем на шее у общества будешь сидеть. А знаешь ты, как у нас с трутнями поступают?

И задрожал вдруг Борька, страхом горячим его залило, понял Борька, что колхоза ему не простят. Вот чего не простят никогда. Что убийство? Казнят и убийством прикроются...

— А ты еще и убил ко всему, теперь разом за всё и ответишь, ох как ответишь...

...И понял Борька, что пропал, пропал, и как — не заметил, и что жизнь его кончилась, оборвалась разом и вдруг. Петлей его захлестнуло и бросило на пол, и червяком серым ползти заставило, извиваясь и колотя в доски коленями. И увидел Борька, что нет его больше — Страх один извивается, сейчас в окно улетит, взовьется над городом. Нет силы в городе, и чувств никаких не осталось, только три силы, три чувства, всё из них сложится: Горе, Страх и Беда!

По очереди, один за другим, выносили два гроба, и старухи путались следом. Много народу пришло, стояли, шли за гробами. А что еще делать в городе? Самим хоронить или смотреть, как хоронят. Так и шли, много народу.

Четыре подвыпивших грузчика из магазина, взявшиеся за четвертной вынести и опустить в могилу покойных, переругивались, толкались от непривычной работы, неровно несли. Нанятый грузовик далеко встал — старухи научили отъехать, и потные грузчики, матеря сквозь зубы водителя, пронесли один квартал и быстро задвигали в расшатанный, гремучий кузов с черно-красным полотнищем на одном борту. Добились своего бабки — хоть и не было оркестра, торжественно получилось, как генерала хоронят.

Толпа окружила грузовик, куда подсаживали старух, и они, привычные, сноровисто рассаживались по краям на пыльных лавках, усадили Марусю и сами потеснились, дав место четверем подвыпившим грузчикам из магазина, взявшимся за четвертной вынести и опустить в могилу покойных...

Только вечером, когда уже кончилось всё и дома была, Маруся очнулась. Мутно и без надрыва вспомнила, как родителей землей засыпали, как бросали сверху цветы, какие живые, а больше бумажные, и старухи голосили широкими старушечьими ртами, громко, наверное, только Маруся не слышала.

Вспомнила о Борьке и удивилась: куда пропал? случилось что? Удивилась — не беспокоилась, устала уже. И бояться всего устала, знала, что долго самой не прожить. Да и зачем жить? Чтобы бояться всего?

Прибрала в комнате, пол вымыла, и стало как прежде: отец придет и сейчас на диван ляжет, и мать у лампы выкройку перекладывает. И лампа так же газетой накрыта, чтобы свет отцу не мешал.

С зеркала черную тряпку сняла, сложила, на стул бросила и в зеркало погляделась. Казалось самой, что после всего и лица на ней нет и быть не должно. Удивилась — было лицо, красивое на нее смотрело из зеркала, перечеркиваясь пыльной трещиной на стекле. Побледнела только, а глаза совсем черными стали.

Провела ладонью по лицу, дрогнула нежная кожа — первый раз за всё время чуть не расплакалась. Сдержала слезы.

Отвернулась и к себе пошла за перегородку, всю фотографиями исклеенную. Знала, что не заснет, но свет погасила и в постель легла, может, забудется.

Ночь. Лежала Маруся и в потолок смотрела. Мрак, тяжело упавший в комнату вместе со щелчком выключателя, слабеть начал, над полом повис, на который еще недавно глыбой давил, упираясь в стены и потолок. И, легкий теперь, в окно начал вытягиваться, сочился незаметно на улицу, и хватал его уличный ветер ночной, несся с ним по притихшему городу. Чутко спит город, как зверь.

В комнате посветлело, смотрит Маруся на потолок за голубым рядом и своих вспоминает. Тех, что в земле сегодня ночуют. Первую ночь в земле, трудно, наверное.

Мутится потолок за голубым рядом, сдерживает слезы Маруся и своих вспоминает. Без надрыва их вспоминает, знает, что и сама скоро умрет, может быть, в эту же ночь.

Дочь покойных, про которых весь дом говорил, — Марусю — на следующее утро после похорон мертвой нашли. Скоро нашли, на удивление.

Бабка Романиха зашла сиротку попроведать, как ей там, одинешенькой. Утешить хотела, заодно и рублик спросить, а то в магазин собралась, а не с чем пойти. Вот и зашла. Стукнулась в дверь — не отвечает никто, а куда сиротке пойти? Да и час еще ранний. На дверь нажала — не заперто. Что делать? Потопталась да и зашла.

— Маруся, спишь, поди? — Заглянула к Марусе и закричала на весь дом. Сама чуть жизни не лишилась. А и то — ведь не молодая...

На кровати в изодранной сорочке Маруся лежала.

Глаза безумно и долго на Романиху смотрят, рот — рана сплошная — сухой коркой запёкся, и щека одна насквозь прокушена — зубы блестят. И тело всё Марусино обнажено: застыло, выкрутилось в смертельной муке, изорванное глубокими ранами. Стыло искорчилось на простынях изъязвленное ранами тело...

— Люди добрые!! — вопила Романиха, выскочила, загрохотала по лестнице...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Город падал от Борьки в дымную заволочь и вытягивался на земле, как зарезанный, забросив мертвые ноги и голову за далекий теперь горизонт. Свертывалось небо над Борькой в крутой купол, наружная твердь которого была прозрачной и синей, и сам Борька в небе, над городом, плыл. Огромный и длинный, скользил он в разрыве волос, тень от которых дома накрывала, и тело его звоном звенело, рвалось по ветру. Крепкий ветер на высоте, хлещет, раскачивает Борьку, и не Борька это над городом — Страх! Страх в небо взошел, дома тенью своей накрывает, кружит по ветру. Уставил свой глаз изуродованный на город темный под ним и желтый от пыли и солнца вдали, куда не дотянулась еще его быстрая тень. И гнутся под тенью той кровельные лоскутья крыш, вот-вот обрушатся в тесные комнаты, где люди живут тараканами. И люди сами маленькие жмутся, дрожат — отчего все вместе дрожат, и не знают, у каждого своя есть причина.

Раздулся и выше взмыл Страх. Далеко внизу пропадали город, царапнувшись в небо антеннами и проводами, копотью рубцы и шрамы улиц закрыл и весь,

от первой стены до последней, от Страха дрожит.

Справа от огня и дыма Горе взошло. Выгнуло Горе черным столбом из земли. Тесен Горю купол небесный, как ни круто возьмет — не поместится Горе.

Слева Беда стеной поднимается, на дома навалилась.

Рвет, мечет по ветру Страх, а справа Горе идет, а слева Беда поднимается.

Уставил в небо город торчки редких шпилей, смотрит с этих шпилей звездами, лупится тараканьими глазками, ничего не поймет. И люди дрожат по всему городу — отчего все вместе дрожат, и не знают, у каждого своя есть причина.

Первым летящих заметил бывший сторож, которого за пьянство и вредную в его работе чувствительность поперли из морга. Чувствительность эта простиралась до того, что сторож рыдал и убивался по каждому из покойных, которых ему гроздьями свозили со всех этажей огромного сумасшедшего дома. Рыдает сторож, убивается, а то и в магазин за бутылкой сбегает, чтобы усопшего помянуть. Известное дело, не до работы тут. Так и поперли, остался сторож без места, без средств к пропитанию.

Новую себе работу сторож подыскивать не спешил — сторожá везде нужны: вон сколько воров развелось и, слава Тебе, Господи, год от году всё больше делается, только успевай охранять. Вот только охранять от кого — теперь не сразу поймешь. Теперь каждый вором глядит и вором судит. Всё дело, какой вор? Если чужой, место свое знать должен, того схватить и к суду привлечь — правильно. Свой если — ничего поделаться нельзя, помогать разве, способствовать в меру сил и умения. И то, кто ж зарплату станет платить честному?

А воровать деду пока не хотелось. И что с ним такое, откуда эта чувствительность, щепетильность

проклятая в душе завелась и его поедает? Догадывался смутно: уж не с того ли самого раза, когда мертвяк его по голове приемничком отблагодарил? Видать, с него самого; мало того, что голову попортил, так еще и совестью, подлец, наградил. А какой сторож с совестью? Не работник теперь он, одно слово — инвалид. Вот что с человеком сделали.

Размышлял дед о своей теперь покалеченной совестью душе и в небо смотрел, ждал, когда магазин откроют. Ни единого облака в небе, и солнце горячее жарит, совсем разморило деда на ступенях, а еще минут двадцать терпеть.

«Денька три еще с ней, проклятой, победую, — думал о совести, — и хватит, пойду на работу — воровать пора...»

Магазин всё не открывали, хоть и собрались у его дверей опухлые, сонные бабы с сумками и авоськами, еще пустыми, полоскавшимися на ветру.

«Этим-то чего, — медленно думал сторож, — сейчас откроют, и на тебе — хватай свою колбасу. А мне еще цельных три часа до одиннадцати высвистывать. Если только Федор из подсобки не вынесет».

И вспомнилась ему тишина и прохлада морга, и задергало, закручило деда всего.

«Спасибо вам, — думал о сбежавших мертвецах, — сколько с вами таскался, а вы, здрастье пожалуйста, отблагодарили... сволочи».

Дед опять в небо посмотрел и вдруг выронил цигарку из стариковского слабого рта: над городом, сильно и косо освещенное солнцем, вытягивалось из-за крайних домов безумное в своей огромности тело. Кривились дома тонкими стеклами, старыми, крупно исписанными мелом стенами с осыпавшейся штукатуркой, маленькими, придавленными они казались под непомерной, готовой обрушиться на всех тяжестью. Черное, вздутое дымными волнами, будто горело полгорода в той стороне, тело вытягивалось и

смотрело бледным лицом с бельмами остановившихся глаз и дымной пастью, как зев преисподней, раскрывшейся в небе....

Цигарка дымилась на истертых до ветхости штанах деда, выпаливала коричневое пятно, но дед этого не замечал: из-за крыши магазина, которую два раза перекрывали и всё продолжала течь, выдвинулась другая фигура, чернее прежней, столбом вознеслась прямо в синюю твердь...

— Зна́мение, — прошептал дед, — вот оно, дождались, — и видел третью, навалившуюся на город, — всех напрочь задавят...

— Ты, дед, очумел ай? — спросила одна баба. — Насквозь прогоришь ведь.

— Да ему голову солнцем напекло, вон как в небо усталился, — заметил мрачного вида гражданин, стоявший у самой двери и потому не решавшийся сделать и шага к готовому загореться деду.

Баба стояла в хвосте очереди, и ей терять было нечего. Поставив эмалированное ведро на землю, она подошла, наклонилась, багрово наливаясь толстым лицом, и стряхнула сигарку:

— Вставай, или покройся чем, напечет ведь.

Дед повел невидящим глазом вокруг и опять вперился в небо:

— Вот она... дождались.

— Чокнулся дед, — заключил гражданин, на всякий случай посмотрев наверх — увидел что? Да нет, нет ничего, пусто и жарко в небе.

Из всей толпы, густо собравшейся у магазина и напиряющей в его всё еще запертые двери, один только дед видел знамение, видел и ужасался. Озирался дед на очередь и не мог понять: никто не тарасился в небо, не хватался за голову, бросая сумки из рук, не убегал вниз по улице, не рвал на себе рубаху и пиджак, всенародно каясь в жерновами лежащих на сердце

грехах. А что есть и лежат эти грехи у каждого, дед знал точно. Так в чем же дело?

По-прежнему волновались бабы, оттирая друг друга от дверей магазина, мрачный гражданин ногтем стучал по стеклу наручных часов, и даже восьмилетний малый, стянувший у матери гривенник на мороженое, не хныкал от страха, а спокойно и нагло смотрел деду в глаза.

Догадался дед, встал, качнувшись на занемевших ногах, и побрел прочь от толпы и ненужного теперь ему магазина...

О чем он думал? О том ли, что вот и он с ума спятил, как все в той больнице, где он работал. А если и был кто нормальный, так из пациентов, доктора же — все сумасшедшие. Или о чем другом он думал, только было ему тяжело, и тяжело он по улице брел.

И не могла уже повстречаться Маруся, не могла заглянуть в гулкое небо над городом и удивиться уже не могла, разглядев двух старух, черными столбами летящих, тех самых, что от Нечистого ее два раза спасали, и еще больше удивиться не могла, не то что вскрикнуть — вздохнуть, когда Борька, недавний ее друг, всё видевший и страдавший за всё, Страхом реет над городом... Не могла этого видеть Маруся, не то что вскрикнуть — вздохнуть не могла под землей тяжелой: третий раз Нечистый пришел и душу ее погубил. Некому в третий раз защитить было, сама себя должна была защищать, а сама не сумела...

В этот день уже никто не говорил о семье, так быстро ушедшей из жизни. Пустая была комната — милицией опечатана. И только один человек в доме и даже во всем городе, громадном, асфальтом и камнем накрывшем полземли, вспоминал о Марусе. Вспоминает, даже всплакнет иногда бабка Романиха, страшно ей. И страшно Романихе не за себя, а за Марусю по-

гибшую, страшно за весь город, из памяти которого люди так просто уходят.

У самой Романихи муж не так давно умер. И хоть согласно они жили, и даже, наверное, любила его, не слишком тогда опечалилась — перед смертью муж долго болел, так долго, что всех измучил, а больше других ее и себя. В то долгое страшное время, когда страдал он и криком исходила ее душа, впервые горевать перестала и даже как будто радовалась, что детей у них нет, что некому больше страдать, глядя, как муж умирает и умереть не умеет. Некому больше страдать, только соседи за стенкой ругались и ждали его смерти, когда наконец стоны утихнут и перестанет хлопать дверь по ночам. Да соседей-то всего — две старухи, самим пора умирать...

А муж всё болел. Придет ночь — и вовсе плох делается, лежит высохший весь, и руки по одеялу тянет, сухие и темные, как старые ветки. И запах в такие ночи комнату наполняет, как дверь на кладбище приоткрыли. То легче вдруг: встанет, по комнате ходит и просит на улицу вывести. Но и тогда не радовалась она, уже не надеялась, знала — не долго, скоро опять плохо будет.

В один такой день, когда смерть отступила и ожил умирающий, даже как-то надеяться начал, как всегда надеялся, сколько бы раз потом ни страдал, вывела Романиха мужа на улицу. Медленно спускались по лестнице, со ступени на ступень, подолгу выстаивая на площадках, пока все ступени, с самого третьего этажа, не прошли. А на улице заплакал больной, когда небо увидел и день. Подошел к сирени кусту, что за оградой, под окном у дворника рос, протянул руку, такую тонкую, что легко в щель меж досок прошла, и листок один отщипнул. Смотрит на этот листок, прикладывает к мертвым губам.

Дальше пошел и смотрит всё: и на дом, и на окна в доме, в людей всматривается, а камень какой под ногами увидит — так задрожит. Немного совсем прошел,

а устал уже. Почувствовала Романиха, как вспотела его ладонь: мягче стала и мокрая.

Назад повернули, вошли в переулок, что во двор от улицы вел, и угол дома огибать стали, остановился вдруг муж — на дверь черного хода смотрит. Глянула и Романиха, удивилась: всегда запертая и даже забитая досками дверь сейчас приоткрыта, проваливается в стену черной гулкой щелью. Зачем, кому ее открывать? Лет сорок живет тут Романиха, и сколько живет, всегда дверь заперта была, никто никогда этим ходом не пользовался.

— Пойдем, чего там увидел? — спросила, страшно ей от того, что муж так на дверь эту смотрит. Пошел было и опять остановился, тихо, как себе самому, сказал:

— Мое это место...

Больше он не был на улице — всё хуже ему становилось. И хлопали двери по ночам, и «скорая» приезжала, да чем тут поможешь — умер. Забрали его санитары и сами похоронили, за казенный счет. Так долго болел и так незаметно умер. Только соседи знали об этом, и тем уже всё равно...

Осталась Романиха одна со своими заботами. После смерти мужа опять о детях стала жалеть — одни беды ушли, другие остались. Из последних денег конфеты покупать стала, носит всегда теперь истертый кулек и детям на улице дарит. Да не берут, боятся ее дети, боятся этой старухи со страшным лицом, таким темным, как у негра. А если которые со страха возьмут, так за углом выбросят или разобьют кирпичом стекляшку и смотрят на оставшийся от конфеты порошок, которым отравить их злая старуха хотела.

Только Маруся во всем доме с ней говорила. Приветливая была и помогала Романихе чем могла, как никто не помогал — ни дети, ни взрослые.

В этот день, когда над городом явилось знамение,

Романиха к родственнице дальней ходила. Пока добралась — устала и целый день за столом у ней просидела, пила чай, прикусывая грошовыми карамельками, хуже тех, что сама носила в кульке, и жаловалась на жизнь и сама жалобы слушала. Выходило, что всем жить плохо: и есть когда муж, и когда его нету; и дети когда растут — озорники теперь все, а кто вырос, так и до тюрьмы успел достукаться, и когда их нет совсем. «Что такое? — не могла Романиха в толк взять. — Ведь должно же быть хоть кому-то в этом городе жить хорошо. Иначе зачем стоять тогда городу?» Выходило же так, что хорошо теперь и генералы не живут. Один даже, рассказывала родственница, застрелился в своей пятикомнатной квартире. А другой, какой-то большой начальник, чуть ли не главный над всеми, так пьет запоем, и ему пружину зашили, чтобы больше не пил. Да разве один он такой.

«Отчего это?» — думала Романиха и понять не могла. Старики теперь все или на пенсии, или по богадельням сидят, редко кто так, сам себе кормится, а легко им? Нет, не легко, да и пенсия маленькая, вон она сама — двадцать рублей получает, поди проживи. А молодежь? Хулиганы одни, а кто не хулиган, так просто дурак — по новостройкам вместе с уголовниками ездит. А сколько их — молодых-то — по сумасшедшим домам теперь сидит.

Долго вели старухи свои невеселые разговоры, пока за окном не стемнело. Поставила Романиха чашку, заторопилась домой. Легко ли старой ночью к себе добираться.

Хоть и торопилась, быстрее старалась идти, к дому подошла совсем затемно. Прошла по пустому, ветром выметенному переулку и до подъезда почти добралась, как наверх посмотрела и обмерла: на темно поставленной перед нею стене светилось окно. Ее окно...

Никого там быть не могло. Некому там быть.

Обмерла и, сама не понимая, что делает, вместо того, чтобы в милицию бежать, к соседям стучаться, с испуганным сердцем по лестнице поднялась в квартиру, в свою комнату. Пусто и черно в квартире, только дверь в ее комнату открыта, лампа горит, и муж покойный в комнате ищет чего-то...

Обернулся, увидел жену с белым, в вытянутых и побелевших морщинах лицом, к ней пошел... Тут ее будто накрыло что, темное перед нею прошло, и опять свет появился. Только теперь покойник за ней был, по коридору шел густой тенью вон из квартиры.

— Постой! — За ним в темноту потянулась.

Уходил, не обернулся, слышно было, как стучит по ступеням...

— Постой, — оступаясь, задевая за стены, пошла. На лестницу выбралась и тоже спускаться стала. Открылась и стукнула дверь вниз.

Всё быстрее торопилась по лестнице, толкнула дверь, во двор выскочила — муж ее, не оглядываясь, за угол уходил...

Добежала туда, увидела дворника в освещенной дворничкой, насвистывает что-то, веник подвязывает.

— Эй, Романиха, мужика только что твоего видел, — сказал спокойно и весело, — поправился, что ль? Туда, — показал пальцем с желтым толстым ногтем, — пошел. Быстро он у тебя ходит, видать, совсем здоров.

Молча бросилась в переулок. Пустой, за ним улица, тусклым фонарем освещенная, — тоже пустая. Повернулась к дому, а дверь на черный ход настежь распахнута, качается, поскрипывает еще...

Глава вторая

После знамения, после того, как отгорело пожарами небо над городом, черное время настало. Красное было, а стало черное, чернее черного дыма — на

город шли мертвецы. Гнилые, гниющие тленом шли бесконечные толпы. На город шли с кладбищ и погостов, утопленники из рек выходили, зарезанные шли из лесов, из тех страшных мест, где долгие годы лежали. Гул по всей земле поднимался.

И в самом городе валились кресты на городских кладбищах, расступались могилы. Поднимаются, как подыметя всякий, кто вопиет о Суде. Жертвами полна земля, теми, что стонут и криком кричат. Подымаются...

Металась в ужасе милиция, весь Комитет — бравые молодые люди, враз побледневшие, с пистолетами своими и железом наручников. Что делать? Тысячи их, и танки есть, пулеметы, а убиенных — земля переполнена. Сами убили — знают, что много.

В парках деревья вдруг зашатались, посыпались листья — и там мертвецы. Не парки то — кладбища. Много кладбищ за красное время оказалось по городу, разрушили их, землей заравняли. А траву посеяли, и на парки стало похоже. Громили могильные плиты, кресты жгли — получилось зелено и культурно. Вроде и нет у нас мертвых. Нет чумных и холерных кладбищ. Многого, оказалось, нет. Ползут асфальтовые дороги по кладбищам, по костям человеческим, и парки шумят — на костях.

Вспухает и лопается асфальт — встают мертвецы, кости брошенные мертвой плотью обрастают. Теперь везде они: на всех дорогах и площадях, во всех скверах и парках, в домах — во всем городе. Что делать?

Бежали жители из своих домов и квартир, прямо под гусеницы танков, тяжким металлом грохочущие по всем улицам, кричали под ними, раздираемые цепкими шестернями в куски, и кровь черными грязными струями лилась по дорогам.

Бежали назад, по чердакам и пожарным лестницам лезли на крыши. Весь город скоро на крышах был.

Тянулись дома к горизонту, и крыши все шевелились — спасался народ от смертной гибели.

Романиха сидела в толпе жильцов на крутом скате старого оцинкованного железа с тусклой, отслоившейся краской, вцепившись в антенну, шершавую от пыли и ржавчины. До узкого водосточного желоба, нависшего над переулком, было не больше метра, и Романиха видела, как за ним, на дне гулкого провала между домами, творятся дикие вещи.

Вот из стены выскочил мертвец, синий, почти перебитый пополам, страшно оскалив большие зубы, глянул в стороны и, согнутый, кинулся по переулку, помогая себе длинными, чуть не до земли, руками. Даже наверху было слышно, как царапаются о мостовую его мертвые когти.

Романиха вздрогнула от ужаса и, высвободив руку, перекрестилась быстрым крестом — с нами Крестная Сила!

Внизу пронеслась машина, взвизгивая резиной на повороте, стекла разбиты, а смятый радиатор темным залит. В конце тесного переулка задела угол, выбив кирпич из стены, и, звоном высыпав левую фару, скрылась.

Пробежал, дробно выстукивая подошвами, человек в синем милицейском кителе, разодранный воротник лоскутом прыгал на вымазанной грязью спине. Его помертвевшее лицо всё время поворачивалось назад, откуда бежал он, а рука ощупывала черное горло. Едва он скрылся за углом, там раздался такой вопль, что наверху все вздрогнули, а Романиха чуть не выпустила из рук шест антенны — с нами Крестная Сила!

Только сейчас поняла Романиха, откуда входят в нее стылые волны, что пятнают небо в глазах, что хватают обрывающееся в груди старое сердце: над городом, в дымном полусвете огня, висел крик тысяч разодранных ужасом ртов.

Теперь многие жильцы, вытянув шеи, заглядывали

вниз. Дети подползали к самому краю, визжали, дрались за место. Матери ругались, ползли по скатам крутым за детьми, а те убегали и снова дрались. Один ребенок сорвался и, перевертываясь, с задохнувшимся криком полетел вниз, вдоль темных, клином сходящихся, каменных стен. Еще не успел он удариться в асфальт, и целым было его маленькое тело, и жив еще был, как улицу расколол вой матери. Бросилась она следом, но ее не пустили. Вырывалась она, подползая всё ближе к краю, и руки, рвавшие платье на ней, не могли ее удержать. Она была на самом краю, когда подоспевшим на помощь жильцам удалось ее крепко схватить, и замерла она на теплой истоптанной крыше, затихла...

Романиха видела это, но уже мало что понимала. И не тронуло горе вовсе ее — когда все гибнут, чего убиваться? И сидела себе, даже на помощь не бросилась, хоть когда-то и доброй была.

Внизу опять чей-то крик заметался: с изломанной рукой и кровавым тряпьем вместо глаза, прижимаясь к стене, медленно шел человек. Ни мундира на нем, ни искалеченного лица разобрать нельзя было, только тряпье красное и черный разинутый рот. Кричал человек беспрерывно, и крик колом входил в него, колом выворачивал зубы из десен, и заслонялся человек здоровой рукой, не замечая зажатого в ней пистолета.

И вдруг задрожали стены, всё небо вокруг людей, переполнявших крыши, дрогнуло: черная тень показалась — шли мертвецы. Их темные лица замерли в тлене, гниющие и сгнившие ноги с тяжелым стуком ступали, и дрожал весь город. Передние только смотрели стылыми лицами на искалеченного, прижатого болью и ужасом к стене, и мимо прошли страшной толпой. И новые проходили. Вдруг среди мертвых тел вопль раздался — мертвец, совершенно голый, с мертво плещущими вокруг головы волосами, бросился из толпы:

— Это он меня убил!

За ним рванулись еще какие-то погасшие лица:
— И меня... и меня...

Первый уже рядом был с человеком, всё так же заслонявшимся рукой, вцепился в нее и одним рывком, вместе с зажатым в ней пистолетом, вырвал из плеча. Стук лопнувшей жилы был слышен Романихе. Человек свалился на камни, и его рвали несколько мертвецов.

— Он меня убивал! — Рвали его...

Романиха закрыла глаза, и не страшно ей, а так худо стало, что думала, потеряет сознание — с нами Крестная Сила!

В это время что-то загрохотало на крыше, рядом которая, — через переулок. Едва Романиха открыла глаза, как увидела жильца с мотающейся и бьющейся о гулкое железо головой, который всё быстрее катился к краю. Рядом с ним никого не оказалось, и никто его, потерявшего сознание, не успел задержать. Ударившись о желоб, он замер и, вместе с желобом, вниз полетел. Ударилось в камни его тяжелое тело...

Тут вдруг Романиха услышала негромкую песню, которую кто-то пел рядом с ней. Повернувшись, увидела старика веселого, он тихой стариковской хрипотцой выводил:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это...

Старик сидел, обнявшись с невысокой железной трубой, торчавшей из крыши, и, кажется, ничуть не тужил.

— Все там будем, — прикинул на глаз путь, проделанный упавшим. Опять запел что-то, в промежутках между куплетами поплеывая на пробежавших внизу милицейских. Иногда плевки ветром сносило на мертвецов, но как первым, так и вторым не было до

них никакого дела. Только сам старик, всякий раз звучно влепив в мертвеца, огорчился:

— Опять в своего угодил.

Раньше Романиха его не видела, похоже было, что забрался сюда дед совсем недавно.

— А что, сударынька, — заметив, что Романиха смотрит на него, сказал дед, — славный, кажись, денек наступил.

Она не ответила, но дед вовсе не огорчился и продолжал:

— ...Славный, давно я его поджидал, вот и дождался.

Говорил он это с удовольствием и, не забывая придерживаться за трубу, даже вытянулся на железе, будто загар принимал.

— Я тут до того, как сюда заглянуть, знаешь где был? — и посмотрел на Романиху умным, ничуть не сумасшедшим глазом. — А вот то-то, что не знаешь... у митрополита.

От веселья и нахального вранья деда Романиха даже растерялась и не заметила, как страха в ней прибавилось.

— Врешь ведь, — сказала.

От этих слов дед не только не обиделся, но и расцвел в самой веселой улыбке, будто его невесть за что похвалили.

— А вот и не вру, врать мне, сударынька, незачем. Тем боле, что за вранье, как и за другие грехи, можно о-очень скоро ответить, очень, — и дед свободной рукой широко обвел окрест. — Что делается-то, истинное светопреставление... А у митрополита действительно был, на крышу к нему, как сюда вот, собирался залезть. Домина огромный, опять же, думаю, место святое, способнее от нечистой силы в целости сохраниться. Ну, и только, значит, собрался, сунулся в дверь, думаю как-нибудь до чердака добраться, как сверху, по лестнице это — толпа целая. Всё больше

милицейские, и в черном сзади кто-то. Решил поначалу — митрополита арестовали. Потом глянул — сам идет, а милицейские-то все генералы, вот ведь дела... Наверх лезть и думать больше нечего — побежал по улице, а навстречу покойники. А уж страшнющие... видал я покойников, сам, почитай, всю жизнь сторожем в морге был приставлен, натерпелся от них, — тут дед ошупал свою голову и вздохнул, — но всё ничего, народ интеллигентный, можно сказать, в нашем морге, не то что эти... — сторож поудобней перехватился занемевшей рукой и продолжал, обращаясь уже не только к Романихе, но и к остальным жильцам, собравшимся вокруг. — Так вот, как эта толпа немых набежала — всё, думаю, сейчас меня успокоят и работу искать (выгнали недавно меня) и воровать не потребуется. Только, значит, коленки складывать начал, наземь хлопнуться думал, чтоб не так способно со мной управляться было, как замечаю, что никто меня не трогает, никому я вроде не нужен... Ну и пошел себе сторонкой, что́ мне, больше всех надо? А этих ужас прет сколько и все туда, откуда я выскочил.

Обернулся я — мать честная! Генералы-то митрополита вперед вытолкнули, а он трясется весь так, что крест по груди ходуном ходит, и руку с другим крестом вперед вытянул, молитву творит, заплетаясь, и крестит, крестит мертвяков почему зря...

— А чего не стреляли-то? — удивился кто-то за спиной у Романихи.

— Хе... они те стрельнут, — засмеялся довольный дед, — только попробуй, так стрельнут, что и своих не узнаешь. Что покойнику пуля? Тьфу, да и только. Он свое уже получил, его танком дави — не раздавишь. Вот ежли из пушки вмазать, тогда... — задумался дед, поглядывая в низкое, исхлостанное ветром небо, — сказать не могу, не видел. Да, так вот, крестит он их, а им хоть бы что — и креста не боятся.

— Видно, крест был не в той руке — святости у

духовного не было, — быстро сказала Романиха, себе удивляясь, — не верила никогда.

— Верно, — согласился дед, — так и было...

Тут загрохотало под самой крышей, и в узких проёмах слуховых окон показались бледные лица. Новые жильцы полезли из чердака.

— Фу ты, — с облегчением вздохнул дед, — а я думал — уже сюда добрались... Так вот, крестит он, значит, а им хоть бы те что, а один упокойный как закричит: «Сам дьявол и крест у тебя дьявольский!» И точно — вспыхнул крест, огнем вспылал — дьявольскою звездой. Тут и бросились на них. Генералов-то быстро угомонили, шеи им посворачивали, а митрополита никак.

Сперва я думал, святая сила ему помогает, а потом вижу — наоборот похоже: разодрали на нем рясу-то, а под ней рубаха красная. Вот так-то — Нечистый оказался. Выходит, я к Нечистому на крышу чуть не влез — ничего себе, сохранился бы. А Нечистый бьется с ними, то одного, то другого повалит... Да одолели, навалились все скопом — закрутился по земле, пропал...

— Иди врать, — вдруг хмуро заявил восьмилетний малый из-за мамкиной спины. Дед даже рот разинул от такого оборота, посмотрел на малого и сразу узнал: тот малый, что у матери гривенник стянул на мороженое. Спокойно и нагло смотрел деду в глаза.

— Вот, мать честная, оградись от такого! — сокрушился дед, хлопнув себя по ноге, все улыгнулись, а кто-то засмеялся даже.

— А митрополит, видать, вор большой был, что Нечистый в него обратился? — сказала Романиха.

— Ой, да они все там воры... позасели, — сердито махнула рукой мамка восьмилетнего малого. — С наше бы у станка поработали.

— Ну это вы напрасно, — обиделся пожилой, интеллигентного вида человек в соломенной шляпе

и с «фонарем» под глазом, — среди духовенства есть истинно святые люди, я сам знал...

— Всё вранье — никаких святых нет, одни выдумки, — убежденно сказал мрачный гражданин, сторож и его припомнил — тот самый, что у магазина первым стоял.

— Может, и мертвяков внизу нет? — усмехнулся дед. — Чего ж ты тут-то сидишь?

Гражданин собирался что-то ответить, но только двинул губой и, еще больше помрачнев, отвернулся.

— Так-то, — дед торжествовал, — молчи лучше.

У серых, пеплом извеянных стен городского крематория, пугающий запах которого разносился далеко окрест, тихо — не было там людей. В огромном гибнущем городе, где вой и стон погибели землю саму разрывал, крематорий пустой стоял и заброшенный. Перепуганные служители разбежались еще утром, и теперь в раскрытые ворота ветер заносил обрывки бумаги и скрученные жесткие листья. Темные плиты колумбария кривыми рядами торчали в песке, сбившись тесной толпой за высокими стенами. Лица и лица умерших, здесь, в этих стенах, схороненных.

Заскрипели крупные зерна песка — шел человек, крался вдоль стен с бесконечными лицами. Бледен он, перепуганный насмерть, одет в гражданский мятый пиджак и синие форменные брюки с красной бегущей полоской, тоже мятые, рваные на колене. Остановился, прислушался: снаружи, за стенами, гибнущий город выгрохатывал истерзанным телом. Опять прислушался — тихо всё рядом, только снаружи стонет умирающий город. Город, занятый мертвецами, — мертвый город.

Оглядывался человек, глаз напрягал, расплеснутый ужасом, только сейчас понял, где оказался. Понял и задрожал.

Припомнил человек, как давным-давно, в те дале-

кие годы, про которые в книгах сейчас не любят писать, — ошибались тогда, говорят (но, в целом, правильная была политика), в те далекие молодые годы он сам оперативником служил и всю эту политику делал. Теперешний Комитет назывался тогда по-другому, да что говорить, столько раз названия всякие менялись, и не упомнишь, а всё как было, так и осталось. Вот только работы больше было, а как работали, разве так, как теперь? С огоньком работали, с душой. Сейчас и ударишь когда арестованного, то так, безо всякого вкуса и удовольствия. Ну, проводом его полоснешь по роже. Тоже — не то. А раньше... Эх, раньше. Раньше этих самых арестованных после допроса штабелями до потолка в подвале Управления укладывали. И так каждый день, без выходных — вот это работа, не стыдно было опером называться.

Помнил он, как на грузовике въезжал в эти ворота, дверь в зал крематория распахивал одним ударом. Помнил лица родственников умерших и лица служителей. Особенно личико молоденькой заведующей в красном платочке. Молодежный отдел ее направил сюда. Хорошенькая была, эх, если б время побольше... А так что, возьмешь за груди, потискаешь, в юбке пошаришь и под зад сапогом — катись отсюда. Правда, время всё же нашел, ничего активисточка, но это уж позже, когда на другую работу перевели... Только всю публику с матерком разгонишь, а тут и еще ребята из Управления на другом грузовике въехали, замок навесили, поставили часового, и пошла работа: этих, что штабелями в Управлении громоздились, жечь. Неделями дым валит. Скольких он сам лично пережег. Так ведь не живых же — мертвых!

...Вспоминал человек и крался вдоль стен с бесконечными лицами. У этих, что в стенах, хоть надпись какая, фотография имеется, а где надпись у тех, которых он жег? Усмехнулся сам себе человек — какая надпись? Вон пепел их в том углу дальнем зарыт, мно-

го его — в мешки насыпали, мешками носили. Яму три метра глубиной рыть приходилось. Да не всегда время было возиться, так и оставляли, сколько нажгли. Пепел потом служители убирали. Куда уж девали его, сам до сих пор не знает, да и зачем ему знать — памятник, что ли, трудам своим ставить? Неплохо, да что-то не ставят нигде.

Если бы Борька вошел сейчас в ворота и человека увидел в гражданском мятом пиджаке и синих форменных брюках с красной бегущей полоской, то под этим пиджаком сейчас бы узнал следователя, того самого, что допрашивал Борьку и признаться в убийстве его заставлял. За эти несколько дней совсем постарел следователь, да и был-то не молод. И пиджак зачем-то напялил, да от того, что было, не скроешься. Вот только Борьки уж нет, Страхом он реет над городом — Страх есть.

Остановился следователь, и заполоскались глаза темнотой: в том углу, в *том* — земля поднималась. Да что же это? Неужто из пепла они восстают?

Из утопанной площадки с травой пожелтелой выбило кусок дёрна, вырвался он на полметра и, рассыпав сухую землю, в сторону упал. А на том месте дым черный взвился, восстал выше стен, выше черной трубы крематория. Из вершин его ком серый выпал — первый поднялся покойник. Вцепился взглядом безумным в него следователь и сразу признал: первый это его арестованный. Не он его допрашивал, он тогда еще опером был, допрашивали другие, а он делал тогда, что прикажут. Помнил, как этот — первый его арестованный — в крови лежал на полу. Крепко допрашивали, а не признался, упрямый был. Помнит, как шомпол винтовочный дали, как накалил его на огне, — малиновым, потом желто-красным стал, — и голому, всё так же на полу в луже крови лежащему, в задний проход вонзал. И по сей день помнит, вовек не забудет, как тот орал, корчился, разрывая шомполом

внутренности... Вот как умер первый его арестованный.

Вверху, влажно собравшись из пепла, еще один покойник упал и медленно к следователю двинулся. И этот знаком: этот сразу признался, раскаялся во всем, чего и не делал. Захотелось тогда пошутить: в ухо и нос пороху ему насыпал да и поджег... И сейчас у мертвого пол-лица нет, и кости наружу. А вот еще один, и еще... Все к нему подбираются.

Отступал, пятился следователь от всех своих жертв, как из-под ног еще мертвец выскочил. Этого прах, видно, служители здесь закопали. Скрипнул зубами и в ногу вцепился. Вырывался следователь как во сне, да разве вырвешься. Силился освободиться и смотрел в него коченеющим взором, и не помнил его совсем, напрасно говорят, что палач помнит все свои жертвы. Ничего он не помнит, да и не палач он, а просто — долг исполнял. Это сейчас говорят — ошибки, а тогда говорили — долг. Долг и есть.

Разорвал мертвец крепкую штанину и тут же кусок мяса срезал с голени. Ожгла его боль, дернулся следователь, закричал истошно — да разве поможет кто? А в том углу дальнем, где пепел зарыт, новые мертвецы поднимаются, из дороги и под деревьями возникают, все, все к убийце спешат.

Сердце у следователя прыгало, толкалось в спину и в горле металось, отбивался он, да вгрызлись сотни клыков и сотни рук его раздирали. Один, маленький, с рыжими когда-то, в зелень вылинявшими в земле волосами, его в живот клыком секанул. Почувствовал следователь, как легко стало в желудке и горячо, и жаром ноги залило. Пытался еще отбиваться, да руки стали пустые и легкие. Земля ему в лицо прыгнула — упал следователь...

Весь долгий день грохотало на улицах города. Сидела Романиха на самом краю, и сторож сидел, уже

ничего не рассказывал. Народу всё прибывало, всё новые жильцы искали спасенья на крышах, и не было там больше места, и балки под старым железом трещали, вот-вот провалятся. Выстрелы всё еще хлопали в городе, но в ветре тревожном, что проносился по крышам и вверх взвивался, не слышно было лязга и грохота танков. Танки молчали, а по всему городу — шли и шли мертвецы.

В дымно-багровом небе ни одна птица круги не чертила, и так там пусто было и страшно, что сторож старался в него не смотреть, сидел, подобрал ноги, мычал что-то себе. И балки под старым железом трещали — вот-вот провалится крыша.

Громко выцокивая коваными каблуками, пробежали в переулке несколько милицейских. Один из них уже в самом конце переулка наверх посмотрел и толпы народа на крышах увидел. Он не удивился, нет, уже давно перестал удивляться, остановился только. «Так», — подумал себе, сорвал фуражку и к подъезду бросился. Через минуту он, сильный и потный, с ощеренным ртом в слуховом окне показался. Дальше некуда было лезть, везде люди сидели. Ближе всех толстая баба в синей трикотажной кофте и рваных чулках. Истоптанные туфли бабы стояли на планке слухового окна, и милицейский, зацепившись за ремешок на одном, свалил их в прочерченную лучами пыльного света темноту чердака.

— Куда лезешь-то, куда? Не видишь, люди сидят! — зашумела сердитая баба, но кричала не слишком громко, напуганная затравленным видом милицейского. Тот не обратил на ее слова внимания, не до того было, он рванул из коричневой, до блеска затертой кобуры пистолет и, ткнув в ее широкую спину, приказал:

— А ну раздайся, стерва.

Баба охнула и в ужасе толкнулась в сторону, раздвинув рядом сидящих жильцов.

— Эй, кто там толкается? — крикнули из-за спин.
— Не толкайтесь, сволочи, упадем же.

Милицейский шагнул через бабу, запутался сапогом в чьем-то узле, выматерившись, одной рукой схватил узел, из которого посыпались голубые и розовые тряпки, и перебросил через головы в переулок.

— Артищев! — донеслось оттуда. — Ар-ти-щев!

Артищев замер и выжидал, пока внизу снова не процокали каблуки и стало тихо.

— А ну раздайся, — снова сказал, пнув кого-то ногой. Люди сидели так тесно, что места освободить не могли и только испуганные раздвигались в стороны, толкая соседей, замирали ненадолго, пока спины рядом сидящих не выталкивали их обратно. Всё протяжней, громче, под крышей и глубоко где-то в доме, трещали стропила.

Артищев остановился над Романихой, заслонив перепутанное в волосах тусклое солнце, — дальше идти было некуда. Ткнул в лицо гарью пахнувший ствол пистолета:

— Встань.

— Зачем это? — удивилась Романиха, видевшая только черную тень над собой, не разглядевшая даже, чем ей угрожают.

— Сейчас узнаешь, ну, быстро.

— Да отвяжись ты, — сказала она, всё еще ничего не понимая. — Вот пристал.

— Я тебе... — и тяжелой вороненой сталью ударил в лицо. Вскрикнула, оборвавшись, Романиха и, замычав, закрыла лицо руками. Между пальцев закапала быстрая кровь.

— Ты что делаешь, разбойник! — крикнула соседка Романихи, с испугом и ненавистью глядя на милицейского.

— Смотрите, люди, вот этот женщину прогоняет, влезть на ее место хочет! — закричал еще кто-то.

— Молчать! — повернулся Артищев и выстрелил

поверх голов. Сразу стало тихо. Молчат люди, хоть и глядят с ненавистью, и не вступится никто — кто же смерти захочет?

— Встань, — опять повторил и поднял пистолет. Где-то за спинами громко задохнулся и заплакал ребенок. Только он один плачет, молчат люди, притихли — кто же смерти захочет?

Выстрел, бросивший эхо в улицу и по переулку, отвлек сторожа от его дум. Повернулся, глянул — и сразу всё понял: сейчас, вот сейчас этот милицейский, потный и темный, в лицо соседке его выстрелит, вот сейчас... прямо через ладони и пальцы. Бросился сторож к нему, выдирая полы брезентовой куртки из-под рядом сидящих, и, что было сил, рванул за сапог грязный и пыльный, весь в крови перемазанный.

Услышала вопль Романиха, отняла руки от разбитого сталью лица: качнулось солнце из-за черной большой головы — милицейский валился за водосточный желоб в пустоту, вдоль темных каменных стен, клином сходящихся на вычерченном кровью асфальте...

— Пойдем отсюда, — срывисто дыша, сказал сторож.

Романихе уже самой противна была эта крыша, и не страшили ее мертвецы.

— А как пройдем?

Вокруг все продолжали молчать, и ребенок больше не плакал, затих. Один гражданин в сером пиджаке и рубашке с галстучком, сидевший с другой стороны от Романихи, громко и облегченно вздохнул и, достав прозрачную пластмассовую расческу, дунул на зубья и причесался. «Дмитрий» — прочла Романиха татуировку на пальцах.

— Сюда иди, — позвал сторож и стал пробираться по самому краю к пожарной лестнице.

Как только они спустились, наверху что-то громко затрещало, и грохот дом содрогнул так, что звякнули стекла во всех соседних домах, — провалилась

крыша. Пыль, как дым от пожара, взвилась густой тенью над разом истрескавшимися стенами дома.

Глава третья

Снова три солнца восстали над городом. И вечер быть должен, и ночь наступить — не наступят. Три солнца дымно и красно всполохи мечут, праздник над городом снова, снова беда настает.

Оглядывался сторож на три аспидные тени, что бежали за ним, вспрыгивая на камни, плевался:

— Вот проклятые, опять приходит их сила. Гляди, как разгорелись, — и, прикрыв глаза ладонью, в небо смотрел, как на портреты вождей.

Прошли те времена, когда на каждом доме во всем городе портреты висели. Много портретов, тысячи — а всё не видно, будто и нет в городе власти, и режима нет никакого. И портреты все разные, — кто как нарисует, — непорядок, и флагами тут не можешь, сколько бы ни было флагов. Долго думали, придумали наконец — и восстают три солнца теперь по великим праздникам, а на каждом из них по портрету. Смотрит огненно праздник через три солнца над городом и облака разгоняет, и снег, если надо, растапливает: май если — июлем делает, ноябрь — тихим сухим сентябрем. Удобно, и на демонстрацию идти хорошо. Вот только тени... Ну да что тени, их только коты боятся и в страхе на деревья царапаются, и воют там, и раздирают бока широкие в ветвях.

Сторож с Романихой шли через город, и никто их не трогал, толпы мертвецов мимо них проходили. Побаивался, правда, сторож, как бы своих — из морга которые — не встретить. А потом рассудил: если и были у них обиды какие, так ведь расплатились — вон как по башке саданули. Трогал дед свою голову — вроде ничего, болеть перестала.

А Романиха всё медленней шла: всё в проходящие

толпы ужасные вглядывалась — мужа своего не увидит ли. И сколько ни смотрит — нет его, проходят все незнакомые. Обращаться к мертвым, спрашивать, кто на такое решится, вот и встанет с краю дороги, и смотрит, смотрит, на лица глядит...

— Долго будешь стоять? — сердился сторож. — Нам пилу найти надо по металлу, а ты куда-то всё не туда заглядываешь. Они, что ль, тебе пилу-то дадут?

— Зачем пилу? — спрашивает Романиха, а сама всё смотрит, смотрит...

— Зачем! Затем, что во-он ту штуковину спилить с крыши надо, — и показывал старик на шпиль самого большого, громадного дома, что отсверкивал в небе стеклянной звездой.

— А...

— «А, а», не слушает ничего, — продолжал сердиться сторож, а сам всё думал, как добраться до этой звезды. Об этом он думал давно, еще когда на крыше сидел, и понимал, что трудно будет это сделать. А сделать надо, иначе не победить Нечистого с его дьявольскою звездой.

Не всё рассказал тогда сторож: когда уходил он вдоль стен по улице, мертвая из толпы остановила его. Струсил дед поначалу, перепугался: рот — рана сплошная, сухой коркой запекся, и щека насквозь прокушена, видно, сшита потом через край. «Пока жив Нечистый, — сказала, — не победить нам. Пока звезда его небо огнем выжигает — не спастись никому, как мы не спаслись...» Сказала, и слеза тяжкая из-под века мертвого покатилась...

Шел теперь сторож, пилу по металлу искал, оглядывался на Романиху. А Романиха мужа ждала, что вот-вот среди трупов покажется. Решила себе: с ним вместе пойдёт, тут же и умрет, и мертвая с ним — мертвым — пойдёт, руки на себя наложит, а его теперь не оставит. Только не было мужа. Вдруг поняла

Романиха: там надо искать, куда скрылся в тот раз, в черную гулкую щель. Мертвый сумел к ней прийти, и она — живая еще — к нему придет с радостью.

— Вернусь я.

Удивился было старик, да посмотрел на Романиху и спрашивать не стал ничего: свои заботы у ней, свои тяготы, а ему, видать, без помощи обойтись придется.

— Прощай.

— С Богом. — Один дальше пошел под тремя злыми солнцами.

Навстречу ему всё чаще люди живые попадались, те, не убивали которые, кому нечего было покойных бояться. Только когда танк броней загрохочет или милицейский выскочит с пистолетом — прятались. Этих боялись — свои изуверы хуже диких зверей.

В центре города тихо было — ни танков, ни мертвецов восставших. Только стекла в домах выбиты, и трупы истерзанные к жарким камням прижимаются. Всё больше военные, но и гражданские есть в темных одинаковых пиджаках, запачканных и рваных теперь. Убирают их с дороги, а расхлесты кровавые на асфальте песком засыпают.

Там же, в центре, дед Фомку встретил, с обмотанной головой и рукой на перевязи. Обмотан был Фомка куском хрусткой крахмальной скатерти с желтыми застиранными пятнами. Одурелый Фомка не узнал старика и прошел бы мимо, не схвати старик его за плечо.

— Ой, — вскрикнул Фомка, весь сморщившись от боли, захлопал наполнившимся слезой глазом и только тут узнал старика.

Оказалось, что перепуганный Фомка заскочил в двери писательского особняка и сдуру, как и все, полез на крышу спасаться. На крыше к тому времени уже сидело полным-полно писателей, из них много известных и даже знаменитых, и неудивительно, что Фомка, как и другие, был встречен не слишком любезно. Его

норовили выгнать, выкинуть с крыши, а кто-то всё время предлагал проверить наличие у Фомки членского билета. Этого «кого-то» Фомка сам выкинул с крыши, а может, и не его, потому что поднялась безобразная свалка, и разбираться тут было некогда. Писатели разом и вдруг передрались между собой, а заодно и с Фомкой и со всеми другими. В это самое время крыша и рухнула, обвалившись в замечательную писательскую библиотеку, а там, уже вместе с книгами и полками, в Дубовый зал писательского ресторана. Проваливались не только в ресторан, но и в Городскую писательскую организацию, и в писательский клуб, но сам Фомка угодил именно в ресторан. И уцелел по счастливой случайности, свалившись на седую голову представителю писателю, которого Фомка не раз видел по телевизору и передачи которого очень любил. Вот только фамилию теперь он вспомнить не мог.

— Куда ж ты пойдешь? — спросил старик.

— А я почему знаю, — вздохнул Фомка под тугой полосой крахмала. — Домой, наверное, если дом еще цел.

— Навряд ли, — усомнился дед, — сейчас, почитай, ни одного дома целого не встретишь, опять же...

Громко ударили пушки за городом, и желтые листья, срываясь с дерева, сухие и коробленные, застучали о мостовую. Заторопился старик, и как ни хотелось ему помощника найти, и легче, наверное, с помощником, да видел — не годится Фомка в помощники, не тот человек.

— Ну, давай, — сказал и по улице зашпешил.

— Давай, — еле слышно откликнулся Фомка...

У разгромленного писательского особняка, за стенами которого всё еще раздавались стоны побитых писателей, старик остановился. Вот где пилу он найдет, где еще, как не здесь. Перебрался через накрепко спаянный цементом кусок стены, лежавший перед

входом в пыли разбитой штукатурки, и, с трудом развернув тяжелую высоченную дверь, вошел. Внутри было так же светло, как на улице, только больше обломков досок и кирпичей. Гулко шагнув по искореженному листовому железу, сторож огляделся: впереди, до самого обнажившегося теперь куска стены, обшитого темной дубовой панелью, с чудом сохранившимся цветным витражом, всё было завалено рухнувшими перекрытиями; слева, в углу, из груды обломков возникали часы в высоком ящике с медным циферблатом и гирями; справа темнела выбитая дверь. Стоны раздавались за дальней стеной, откуда доносились голоса работавших там людей и стук разбираемых обломков.

«В подвал», — решил сторож и устремился в выбитую дверь. Свернув за дверью налево и спустившись вниз мимо уцелевшего лифта, сторож, вместо подвала, угодил в буфет. В углу его обвалилась часть потолка, и через пролом сочился легкий отсвет трех праздничных солнц. Пройдя мимо стойки, тускло блеснувшей зеркалом и бутылками французского коньяка, старик попал в плотную темноту коридора. Железная дверь в самом его начале была распахнута настежь, из подвала несло запахом краски и душной, сгустившейся здесь темнотой. Сторож разыскал в брезенте карманов спички и, вычеркивая пугливые красные огоньки, вошел. Он не ошибся: сразу почти, среди стоп бумаги и всякого хлама, который занимает обычно полки любого склада, в том числе и писательского, он нашел целый ящик инструментов. «Теперь скоро», — думал, и светилась двумя огоньками спичка в его глазах. А наверху всё громче вздрагивали залпы орудий.

Огромный дом вырастал перед ним, серый, из когда-то белого камня, арками, шпилем и стеклянной звездой. Вознесенный в небо, давил он своей тяжестью

в тонкое стекло «Гастронома», лентой пластавшееся внизу на красном камне гранита. Было тихо. Старик обошел площадь и подходил к боковой лестнице. Сбоку весь дом заваливался от старика, выставив и высоко вознося над ним темные статуи. Они глядели далеко за город, туда, где всё громче выгрохатывал гул. Полуголый человек в одних только каменных брюках, страшно напряженный всем своим телом, повернулся в ту сторону и ждал чего-то, ждали и каменные дети, и, застывшие идолами, громадные матери. За ними, воздевшими руки, уходили ввысь и падали от старика серые, прочеркнутые окнами стены, а еще выше взметнулись арки и балюстрады с крутыми легкими шпилями, и над всем этим уносился от старика луч той самой стеклянной звезды.

Поднявшись по лестнице красного гранитного цоколя с крошевом разбитых перил, сторож вошел в дом. Тут же, на кафеле темной лестничной площадки, вытянулись два трупа, оба в мундирах без погон, с почерневшими лицами и вывалившимися, в синих прожилках, языками. Рядом лежал сраженный мертвец в разодранной, полуистлевшей рубахе.

Последнее удивило старика, и он опасливо двинулся вверх по темной и гулкой лестнице. Весь огромный дом был наполнен звуками, шуршавшими и шевелившимися в его переходах. Вот уже внизу где-то, на нижних этажах, которые старик успел пройти, безумно метнулся обрезанный вопль, смолк и долго вскрикивал эхом на всех этажах. Тотчас наверху что-то большое оглушительно разбилось на тысячи, каждый по-своему вызванивавших и рассыпавшихся стуком кусков. Чьи-то ноги громко и тяжело, на всю лестницу, прохрустели по ним... На одном из верхних этажей, поравнявшись с переходом в другое крыло, старик увидел бежавшего к нему человека. Старик сунул руку в ящик с инструментами и скользкой от страха

ладонью взялся за молоток, но человек остановился, увидев его, и бросился в боковой проход...

Всё выше поднимался старик. Через толстые стены и комнаты, этажи и переходы видел он, как высоко ступает над городом, его разбитыми домами, лоскутными кровлями и пламенем новой битвы, грохот которой всё приближался. Знал старик — то Нечистый подходит.

Лестница кончилась, оборвалась широким, таким же темным коридором, целой улицей, в конце которой светилось маленькое окно. Окно было разбито, и по всему коридору тянуло сырым и мглистым сквозняком. Старик даже вздрогнул от его прохватывающей силы и плотней запахнулся в брезент. Новая лестница, освещенная сверху медленным светом невидимых старику окон; снова, подрагивая, толчками, сбегает вниз ступени, пропадают за его брезентовой спиной, много ступеней, так много, что и не сосчитать. Сверху опустилась и, чуть качнувшись, повернулась перед ним лестничная площадка — пусто всё, так же нет никого, хоть и доносятся звуки из тенями занятого дома, страшные звуки мертвого дома.

Опять кто-то далекий и маленький, задавленный тяжким узлом мертвых лестниц и переходов, закричал...

Сторож не опасался, что дверь на чердак будет заперта — целый ящик инструментов поможет ему срезать замок или выпилить его из двери. Но делать этого не пришлось: дверь чердака, обитая листовым железом, была открыта и через широкую щель выдувала на лестницу чердачную сырость.

«Ночь скоро», — подумал старик, отчего вдруг подумал, и сам не знал — светили еще три солнца в окна лестничной клетки.

На чердаке, как только он туда вошел, что-то отступило от двери и скрылось в глубине, выхрустывая по толстому слою шлака. Старик облился холод-

ным потом и, вынув молоток из ящика, держал его теперь наготове. По двум запыленным доскам на шлаке, чуть освещенным из слухового окна, старик мерил чердачную темноту, пока из-за поворота тихо не выплыло колеблемое плотными струями света отверстие выхода.

Вышел старик на свет и рукавом глаза быстро прикрыл — болью из глаз темнота уходила.

— Есть тут кто-нибудь?

— ...нибудь.

— Или нет никого? — Романиха стояла у двери черного хода, кричала в гулкую черную высь. Боялась дальше идти, хоть и говорила себе, что не испугается и за мужем пойдет, где бы ни был.

Шуршит и трескается дом с обвалившейся кровлей, молчит, только сыпется штукатуркой. Пусто вокруг: жильцы, спаслись которые, и жители соседних домов близко подойти к дому боялись — рухнет вот-вот, еле держится.

Звала Романиха мужа и напрасно ждала — не было ей ответа, молчал муж, хоть и здесь где-то был. Нет ответа. Самой надо идти к нему в черную высь, а не может.

— Есть тут кто-нибудь?

— ...нибудь.

— Или нет никого? — Как ни мучилась, не могла по имени мужа назвать, и знала, что не так зовет, не так делает, а не может, как не может дальше пойти.

Стукнуло сзади, на улице, — идет кто-то, тяжело ступает. Повернулась — покойница за спиной стоит.

— Маруся, — только и сказала Романиха, и нет больше воздуха, сказать больше нечем.

— За мной иди. — Маруся тяжело и медленно выдохнула, будто земля могильная горло ей давит. Шагнула вперед, и так же медленно, как шаги ее стучались, из темноты слова выпадали:

— Не придет он — сам умер, никто его не сгубил. Только убитый и Суда страждущий из гроба подыметься, только безвинно погубленный о Суде вопиет.

— Но приходил же, сам ко мне приходил... — Романиха объяснить, рассказать всё скорей торопилась, боялась — оставит ее Маруся одну...

— Лист сирени искал, что в гроб ему положить забыли, за ним к тебе приходил.

И вспомнила тут Романиха, как просил умирающий, как плакал медленной последней слезой, о листке говорил. Обещала тогда положить вместе с ним и листок, тот самый, что сорвал под окном и к губам прижимал. Да так и забыла, всё на нее свалилось: сколько справок одних, документов оформить надо — до листка ли тут. Вспоминала Романиха и тихо плакала, и за Марусей шла...

Вместе они уходили, гулко и высоко.

Оглядевшись, старик сообразил, что взобрался уже порядочно, но еще выше ему надо взбираться, много выше. Сейчас он находился в нижней части восьмигранной башни, венчавшей огромное здание, а надо подняться внутри этой башни до самого верха, откуда начинается шпиль.

Из-под сводов и темных арок налетал ветер, бросаясь в лицо комками мелких голубиных перьев, сметая с плит сухой голубиный помет. Стряхнув с лица мусор, старик разглядел, что все ряды арок, карнизы и своды, тесно обступавшие главную башню и соединявшие четыре малые башни по краям, заняты птицами. Любой выступ, любая впадина в камне топорщится ими — серыми, как крысиная шерсть. Только на плитах пола, забрызганных помётом, было свободней, и прохаживалось всего несколько больших грязных птиц.

«Вот она — «птица мира», — невесело подумал старик и видел уже, как все они взмывают быстрой,

мельтешащей тучей и носятся в громовом хлопанье крыльев у этих стен...

Старик через огромную арку подошел к самому краю площадки и заглянул вниз. Прямо под ним, на крыше жилой части дома, расположилась целая толпа жителей. Снизу, за каменным парапетом, их не было видно, и они удобно и безопасно устроились на просторной, выложенной гранитными плитами крыше. Несколько человек заметили старика.

— Эй, дед! — крикнул один. — Чего ты там делаешь?

Все повернулись к старику, и он растерялся, замер под взглядами жильцов.

— Спускайся сюда, дед, — там ходить не положено! — продолжал кричать парень, что первым заметил старика. Его голос отражался от каменных стен, хлестко вызванивая в арках, пугая голубей.

— Без тебя знаю, что положено, — не удержался старик. Парень внизу сразу начал злиться:

— А ну слазь, говорю!

— Отстань ты от него, Ефим, — сказала парню красивая, чуть томного вида девушка, ее поддержала другая — худющая и вертлявая. — Ну что он тебе сделал?

— А чего он... лается еще.

Пока они отвлекли парня, старик поспешил обратиться с глаз и сунулся опять в дверь чердака разыскивать лестницу наверх. Не понравились ему эти люди, и не тем, что парень этот к нему привязался — всякие бывают, а тем, что спокойно им тут, даже ветер не дует. Где уж за такими стенами Горе заметить, где Страх испытать и Беду. Нет им дела до погибших безвинно, до тех, кто восстал из могил. И до Нечистого им дела нет, и с ним примирятся с радостью.

Поднимался всё выше старик по темным лестницам, чуть освещенным через толстые пыльные стекла окон, стрельчато-узких и круглых. Мимо дрожью

дрожащих машин поднимался, во тьме башни посвечивающих тусклыми лампами, воду качавших и трос в черной густой смазке бесконечный тянувших. Мимо гудящих электричеством железных щитов с красной молнией и белым черепом. Мимо черных тугих проводов.

Вот и еще дверь, даже не дверь, а люк небольшой, распахнул его старик, и ворвался, завыл в башне ветер, крепкий ветер, что наверху. Прямо от люка к самой звезде вели скобы в проволочном оплете. Тонким казался шпиль в сером высоком воздухе и ненадежными скобы.

«Если железные, — думал старик, — так наверняка проржавели — сорвешься на середине». Скобы оказались медными, крепко вмурованными в тоже омедненные, позеленевшие плиты. «Покажись хоть одно из солнц, и запылает, загорится кругом — ничего не увидишь», — думал и всё не решался старик. Но не было солнц, тучи закрыли их — надвигалась гроза.

Старик оставил ящик у люка, одну пилу только вынул и к поясу примотал проволокой. Постоял еще, вздохнул и, осенившись, первый раз в жизни осенившись горячим крестом, быстро полез.

Рвал его ветер, но цеплялся старик, поднимался всё выше, к самой звезде. Вот уже выбрался на площадку узенькую, звезда совсем рядом, темным стеклом в медном переплете голову давит. И пусто вокруг, так пусто и шатко, что город внизу со всею землей пропал куда-то, только шар, которым окончился шпиль, висит в воздухе, огромный и скользкий, кисло пахнувший медью. Звезда — на стальном штыре за шаром. К одному из нижних лучей ее, к медному переплету, болтом трос прикреплен, захлестнутый через поручень площадки и уходящий внутрь между плитами.

«С этой стороны встану», — решил старик, поднялся, отвязал пилу и, вытянувшись так, что всей

грудью уперся в шар, провел со скрежетом по штырю.

Тотчас всё закачалось и закрутилось вокруг. Старику казалось, что это он сорвался, соскользнул с округлости шара и летит, летит вниз... Но нет, чуть погодя понял, что не он, а сам шар, шпиль весь, вместе с огромной тяжелой звездой, сделанной нечеловеком, трясутся, раскачиваются в пустом воздухе.

Еще раз с силой провел и короткими рывками начал пилить. Узкая пила всё глубже входила в твердую сталь. «Ага», — радовался старик и не замечал рядом ветра безумного, не замечал, как вздрагивает шпиль огромного дома. Пилил старик, и тонкая полоска стали отделяла его от спасения...

Вдруг вся площадка качнулась так, что старик едва удержался, схватившись за трос свободной рукой: через весь город прямо к нему шли Фронт и Победа. Огромный Фронт и Победа огромная, пьяные оба, от крови пьянящие. Еще шагнут и рядом будут — пропал старик, и все вместе с ним, нет и не будет спасения.

Остановился старик и пилу опустил. И снова вздрогнуло всё — Страх появился с другой стороны, дымный и черный, будто горело полгорода, а справа Горе взошло, а слева Беда поднялась. Заслонили старика черной стеной, и засветились, засверкали близкие молнии...

Он снова пилил часто и торопливо, заливаясь потом. «Хорошо бы не целый прут, а труба оказалась», — быстро думал, хоть сам знал, что слишком уж тонок прут, чтобы пустым внутри быть. «А может, действительно — труба», — думал и думал, и видел уже, как медленно сначала и быстрее потом валится огромная звезда, выдирая из своего тела толстую медную планку, к которой привинчен трос, ударяется краем в плиты шпиля, высыпая тяжелые осколки рубинового стекла, гремит, грохочет яростно вниз...

Видел, как светом всё заливает, и не трех, а одного ясного солнца, когда летом — лето, а зимой — зима. И нет в городе страшных домов с кровавыми

звездами, что лупятся, глядят со спиелей тараканьими глазками. И фронтов нет, и побед никаких, даже мирных. И страх не реет черным пожаром, не восходит горе, и беда уже никогда не поднимется. И колокол в церкви той белой, что за городом, звонит светлым радостным звоном, вторят весело, вызванивают малые колокола, и отвечают им другие — серебряные, что тихо живут у каждого в груди...

Вдруг ударило и раскололось небо над стариком, огненной рекой его охватило, вспыхнула трескучим огнем мокрая от дождя брезентовая куртка. И увидел старик, что Нечистый в красной горячей рубахе сошел и встал рядом с ним, усмешается: «Не трудись, старик, пока люди есть — будут фронты, пока люди есть — будут победы. И Я — буду!» И больше ничего уж не видел, выронив пилу, падал старик в горячей брезентовой куртке, падал на красный тяжелый гранит...

— Что тут такое?

— Да вот, товарищ милиционер, старик какой-то полоумный сверху свалился — молнией его шарахнуло.

— А чего он туда полез?

— Да кто ж его, полоумного, знает, — развел руками дворник, — у нас в ЖЭКе не числится. Вроде пилил что-то, вон, видите, ножовка валяется, — и указал на сломанную пилу, лежавшую у самой дороги.

— Говорил что-нибудь?

— Говорил немного: о празднике каком-то, три солнца какие-то... так, ерунду всякую...

— Бредил, — заключил милиционер и посмотрел в небо, где выгрохатывала, уходя за город, грозовая туча, и влажное, яркое после грозы солнце ударялось в звезду на сияющем шпиле. — Ладно, сейчас протокол составим.

— Эй, Артищев! — позвали из лихо тормознув-

шего на мокрой брусчатке милицейского газика. — Давай сюда, брось писать, потом успеешь.

— А что там такое?

— Да на перекрестке дом рухнул.

— Это который?

— Да серый, с трубой.

— А многих убило?

— Немного, бабку одну убило — едем откапывать, может, еще кого найдем, премию получим.

— Получишь, — усмехнулся Артишев. — Ладно, иду...

И лежал на плитах мертвый старик, что город спасти хотел, да так и не спас, и смотрел теперь неживыми глазами, и в них — три солнца стояли над городом, как всегда стоять будут, и праздник был, как вечно будет теперь, до самого Дня Судного, — Красный праздник.

1973 — 1975

Москва

Петербургская поэзия

Если это употреблять как термин, каждый в него вложит свой смысл, свое понимание, — и будет прав.

Да и что это — Петербургская поэзия? Школа? Группа? Направление особое какое-нибудь? Едва ли найдется исследователь, который рискнул бы утверждать это. Но одно есть безусловное — петербургское: при всем разнообразии поэтов — от Ломоносова до ... ну хоть до Анри Волохонского, что ли, — сохраняется непрерывность традиции. Так уж исторически получилось, что поэзия русская и Петербург если не синонимы, то, как говорят математики, «стремятся к подобию». И если нет и не может быть единой для двух веков школы, то группы, школы, направления кристаллизовались именно здесь, в этом городе.

Но подробное исследование разных групп, их взаимовлияний (если современники) или наследования традиций никак не уместится на этих страницах, это — тема отдельной, большой работы.

Я же хочу только бегло упомянуть поэтов последних двух десятилетий — тех, кто вместе составляют поток, по ширине своей и многообразию захватывающий добрую половину, если не более, сегодняшней русской поэзии.

Прежде всего надо сказать о тех, кто по тем или иным причинам внелитературного характера не занимает в литературе (официальной, разумеется) того места, какое был бы достоин занять.

Я имею в виду поэтов так называемого первого послевоенного поколения — того, которое, на первый взгляд, породило лишь толпу литературных чиновников, наподобие С. Орлова, или газетных гладкописцев на военную и праздничные темы, вроде небезызвестного М. Дудина, с их километрами верноподданнических ямбов. Дело не в них. Но даже в этом поколении, лучшие люди которого погибли на фронте или сгнили в лагерях, даже в этом поколении выжили чудом несколько поэтов, о которых не стыдно сказать это слово — п о э т. Из них лишь Вадим Шефнер и покойный Александр Гитович по случайности публиковались достаточно широко... Не могу не процитировать тут одно стихотворение Гитовича — всего четыре строки — которое, по-моему, стоит большой поэмы:

Есть трагедия веры, с которой начнется
 Закаленных дивизий развал и распад:
 Это вера солдат в своего полководца,
 Что давно уже стар и не верит в солдат.

Среди тех, кому уже за пятьдесят, а то и более, необходимо отметить Глеба Семенова — поэта, заслужившего своей тонкой, проникновенной лирикой куда большей известности, чем видим мы сейчас:

Тщета интриг, тщета вериг, тщета высоких слов...
 Есть человека первый крик, любви внезапный зов.

Вот это отталкивание от всего, что стоит за первой строкой, и потому тяга ко всему, что видим мы сквозь вторую, — душа его поэзии. Пантеизм Спинозы нашел в Семенове достойного своего поэта...

Элида Дубровина. Ее судьба — публиковать часто стихи не лучшие, а лучшие уносить обратно из редакций...

Дубровина — один из самых глубоко национальных русских поэтов. Ее стихи наполнены колдовским отсветом таинственных лесных ночей, жуткой языческой сказкой...

Я — не к добру, я не добра —
 Я — волчье солнышко — луна.
 В звериный мех из серебра
 Нагая роща убрана...

... А на поляне — волк, мой царь,
 Моя божественная тварь!
 Сверкнут глаза, задышат ребра,
 И лес поймет, что обречен,
 И ужаснется — как подробно
 Он до хвоинки освещен...

И не вина Дубровиной, что несмотря на семь или восемь вышедших книг, лучшие ее стихи или тонут в них, или вообще не изданы.

Тридцать лет пишет прекрасные стихи прикованный к постели Лев Друскин. «Человек со шпагой на боку» — как

называют его те, кто знает, что его жизненные принципы и поэзия не расходятся. Если можно одним словом охарактеризовать поэта, то для Друскина это слово будет — Верность.

Мушкетеры господина де Тревия,
 Неужели вас гвардейцы затравили?
 Разве можно, чтобы слышалось всегда:
 Шпаги в ножны, шпаги в ножны, господа?

.....

Я один в недоброй комнате сижу,
 И в лицо своим обидчикам гляжу,
 И сквозь гнев, и одиночество, и муку
 Опускаю я торжественную руку,
 Как на Библию, на детский тот роман:
 — Я не струсил, я не струсил, Д'Артаньян!

Александр Морев — по возрасту уже входит в следующее поколение, в поколение тех, кто начал печататься в конце пятидесятых годов — тех, кто проявился в это богатое поэзией десятилетие (1956 — 66 гг.), это — поэты «медного века». Но Мореву повезло меньше, чем его ровесникам — В. Сосноре, А. Кушнеру, М. Борисовой, Г. Горбовскому, которые вышли в свое время в печать и которых не закрыть уже, как щедринскому бюрократу не закрыть Америку. Несколько стихотворений и две небольших поэмы в «Днях поэзии» за разные годы — вот и всё, что можно найти опубликованного. Последние годы Морев перешел на прозу и, по-видимому, к поэзии возвращаться не намерен. Так порой и бывает — вовремя не опубликуется поэт и стихи его задушат...

Всего две книги выпустила Раиса Вдовина — поэт непосредственнейших чувственных ассоциаций, словно связывающий сквозь время сегодняшний Петербург с духом Достоевского.

Совсем недавно первую книгу выпустила Ирина Сергеева — мастер лирической миниатюры, прозрачайших акварелей...

Что ты танцуешь в одиночестве
Сегодня, на пустынной площади,
Где всадник на чугунной лошади?

Последний снег лежит на всаднике,
И день прошел, и пусто в садике,
А ты танцуешь танец свой...
И тень твоя дрожит и корчится!
Но ведь должно всё это кончиться,
И кто-то должен крикнуть «стой»...

Неполным будет список поэтов, не включенных в предлагаемую подборку, если не упомянуть имена Иосифа Бродского, Константина Кузьминского, живущего сейчас в США, Иосифа Бейна, живущего в Израиле, Виолетты Иверни, живущей в Париже... Но эти поэты уже известны нашим читателям, и сегодня мы предлагаем читательскому вниманию тех поэтов, которые и поныне находятся там и, несмотря на известность большинства из них в среде любителей поэзии (а это — добрая половина города), до сих пор почти ничего не опубликовали. Эти поэты начали писать лет на десять позже, чем те, кому удалось проскочить в узкую щель «медного века», длившегося всего несколько лет. И поэтому не случайно, что после 1968 года ни одного нового имени в ленинградской поэзии не появилось: вся *петербургская* поэзия, рождающаяся в последние годы, и не стучится в двери издательств — бесполезно! Но поэтов этих знают куда лучше, чем тех, кто под выгодным именем «молодых», «рабочих» и еще невесть каких «авторов», заполняет страницы журналов...

Попытки исчерпывающих обзоров — штука мало благодарная: всегда кто-то выпадет, или не то место займет, или... не знаю, какое еще «или» подстерегает. Но за последнее время были попытки таких обзоров: Ю. Мальцев попробовал что-то систематизировать, но вышло скороговоркой, неточно, неполно — и не его вина, объять необъятное — как не так! В «Аполлоне 77» разные авторы упоминают разных поэтов, в одном месте — один «самый главный», в другом — другой... А в конечном счете — прав Есенин: «Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянье».

И потому, не слишком ли мы спешим всё рассовать по клеткам школ, групп, влияний, учителей, учеников, не слишком ли громкие названия берем для этих эфемерных содружеств?

Нет, не получится обзора Питерской поэзии. Из тех, кто ныне в Питере пишет, из тех, кто известен в широких ли, узких ли кругах, можно назвать и пять имен, и пятьдесят пять... Так что оставим потомкам сочинять учебник литературы, в коем, бесспорно, каждый поэт будет заключен в свою страничную камеру, с соответствующим количеством слоев хрестоматийного глянца.

Потому я и называю имена, которые для других значат, может быть, меньше, а может быть, больше, чем для меня. Поэтому не называю имен, которые мне кажутся незначительными (а для кого-то, может, и всё наоборот). Главное — без претензий на роль «раздавателя слонов и материализатора духов». Поэты есть. И были. И будут.

Елена ИГНАТОВА

1

И русского стиха прохладный влажный сруб,
Звезда под крышкою чудесного колодца.
Смотри, как плещется, кипит у самых губ
Вода бескожая — а в гости не дается.

Но если в августе разомкнут небосвод
И мокрой чернотой размыты дали,
Кастальская вода в ключах твоих поет
Настоем бедности бессмертной и печали.

О поэзии Елены Игнатовой см. мое послесловие к ее стихам «Поэзия причастности» в «Гранях» № 98, 1975. Книга ее «Стихи о причастности» вышла впервые в 1976 г. в Париже в изд-ве «Ритм». — В. Б.

2

Ты увидишь монгола в коровьей одежде до пят
И степных мудрецов, испытавших, горят ли божницы.
Отшатнется Рязань, закусив окровавленный плат,
И волчица придет в городище разбитом щениться.

В чем твоё искупленье, земля? И отчизной затем
Ты зовешься, что емлешь детей своих кости?
Ты — земля — без конца. Безобразное месиво тел,
Но сияют глаза матерей у тебя на коросте.

И за то, что я тоже паду в этот стонущий прах,
И за то, что с рождения в сердце полынное семя,
Дай мне только надежду, прощальную соль на губах,
Что не станешь ложиться лицом под татарское стремя.

Что болтаю? Какое мне дело до этих людей?
Отпусти меня, мать, позабудь меня, дай мне укрыться...
Только бы не упасть между этих могильных грудей
И водою подземной во чрево не колотиться.

3

Сидят большие мужики,
Их бороды клинообразны,
В глазах зимуют светляки,
А руки праздны.

Концерт по радио — и он
Надоедает.
Ребенок тощих комаров
Под лампой давит...

Смоленщина! В моей судьбе
Больные звенья.
Ты — чернолесье, ты любовь,

Погост, где брат мой спит без снов,
И мать — без утоленья.

4

Для российской жены на чужбине что станет милей?
Возле сердца горит запыленная веточка дрока.
Заучило безличье лицо. Но осталась у ней
Голубиная завязь зрачка деревенских пророков.

Вот на лавочке в ряд словно дети сидят и вещают:
«— Верно, сушь повторится, точнее, дождливый июнь».
Низко-низко над ними кружит, только шапки с голов
не сшибает,
Дурковатая птица, седой Гамаюн.

Перебилась, прости. Для российской жены вдалеке
Есть флакон со снотворным, и капли разбиты в стакане.
Столь безлюдные ночи, что лишь на Каяле-реке
Человек помаячит и исчезнет в тумане.

Ты снисходишь до нас, о тяжелая пава чужих
поднебесий,
Говоришь, что Россия на взлете, точнее, мы все
прогорим...
И кружит над тобою, как пыль по дорогам безлесий,
Столь свободный, столь ароматический дым!

Если сердце закушено, если татарская ртуть
Раскатилась по жилам, то нам ли с тобой об обиде?
Под каким бы бетонным надгробьем, в какой бы земле
ни уснуть,
Эти пажити горя, о, только бы издали видеть!

...Силы прошу я и сердца без края,
Исполосовано болью, сумело б замену снести.
С каждым отъездом частица души, отлетая,
Не отлетает. Крошась, как краюха сухая,
Всё же прощает и силы нашла для «прости».

Речи заемной хочу я — немецкой, английской,
Русское слово для слуха, что слёзные яблоки глаз...
Что мне Москва? Словно в яме остылой и склизкой
Нету его. Сердце, выдай Бориску,
Чтобы судил его памяти тайный приказ.

Я попрошу о ночах без греха и о теле без плоти,
О неязвимом вовек золочёном яичке судьбы...
Вы же смогли! В серафическом вашем полете,
К Лете припав, вы забвенью безгрешное пьете.
Как мне прожить на высокой нервущейся ноте?
Как убежать и запоя, и воя, удавки, угарной избы...

МАРСИЙ

Марсия дудкой клянусь, Марсия кожей,
Тою кифарой, что нынче разбита, увы!
Нет ничего пустотелого слова дороже,
Хвойного звука ручья, вечного шума травы!

Детская спесь у сатира. Мохнатую голову лавром
Он увенчал. И свирель, что Афиною гневно
Брошена (ибо игра искажала черты богоравной),
Он подобрал и дудит. И рожа его вдохновенна.

Что же? Не тем ли мы платим — лица искаженьем
и цели,

Рабством гордыни, клейменьем любви без ответа —
За мусикийские игры, за хрипловатые трели
Дудки богини, с рожденья подобранной где-то...

И воздает Аполлон за целую жизнь — вперегонку!
Мертворожденная кровь стекает сведенною мышцей,
Дудка раздавлена болью, всхрипнет еще еле слышно,
Лира звенит из травы. Эхо незвонко.

.....

В эту судьбу я гляжу и вижу, как каждая капля
Крови, упавшей в песок, бормочет и учится пенью...
И повторяется вновь жуткое это сраженье:
Звуки небес вперемешку с воплями из живодерни,
Дудка в младенческой горсти, певчество и нетерпенье!

* *
*

Теперь скажу — мой птичий профиль жалок —
Собаچه, соколиное перо,
А ты — душа. И яркий полушалок
В морозном воздухе сверкает как осколок,
И снег хрустит: «добро, добро, добро».

Запомнила — январь, Крещение Сына,
Купель бездымной голубой воды,
Морозный день и посвист соколиный
И маленькие девичьи следы.

Безгрешен поцелуй крещенской ночи,
Раздуты вены у реки больной,
Горит вода в серьгах твоих сорочьих,
А туфельки ступают всё короче
Московской зачумленной землей.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Слобожане, ау!
 И Расея провоет: «Живу!»
 Шевельнется казненный во рву,
 И обрубками рук обминая траву,
 Прораставшую в горло, промыслит: «Ау!
 Схороните в земле!»

Слобожане, ау!
 Вот Отрепьев Григорий лежит на столе,
 Вознесен на московском подворье как гребнем
 волны.
 С ним волынка, личина и дудка в золе и венозной
 крови.

И по смерти глаза влюблены
 В непросохшее небо.
 «Развейте мой прах на ветру!»
 Слобожане, ау!

Прячет в ряске монах
 Приворотное зелье и склянку румян.
 Опяст его скверные девки, ограбят.
 В единых штанцах
 Он очнется в навозе...
 Но Пименом этих времен
 Он останется в наших умах.

Неразборчивый крик
 Из годов, где и слову подрезан язык,
 Слышим — времени смут.
 То палёным, то падалью пахнет. То клевером
 остро пахнёт,
 Там от дыбы на плаху несут.
 Но над грязью, безумьем, над жирным могильным
 червем
 Молодое слепое мычанье Расеи: «Живем...»

Первые выступления Виктора Кривулина — в начале шестидесятых годов. Типично петербургский поэт: аккумулятивная культура находит в его стихах причудливый выход. Мало обращая внимания на строфические, ритмические и музыкальные способы выражения, Кривулин интересен прежде всего многослойной метафорой, где мысль — в мысли, как матрешки друг в друге. Изысканность образов и северная сдержанность темперамента не спорят между собой у этого поэта, а дают неповторимый красочный гибрид...*

ВИШНИ

Густовишнёвый, как давленных пятна
ягод на скатерти белой,
миг, обратившийся вечностью спелой, —
прожитый, но возвращенный обратно!

То-то черны твои губы, черны!
Двух черенков золотая рогатка
пляшет в зубах — и минувшее сладко,
словно небывшее, где без остатка
мы, настоящие, растворены.

Мы и не жили — два шара дрожали,
винно-пурпурные брызги потока

* Первые стихи В. Кривулина на Западе были опубликованы в «Гранях» № 97 в 1975 г. под названием «Стихи анонимного поэта» («Форма», «На крыше», «Пью вино архаизмов...»). В. Кривулин родился в 1945 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет, филологический факультет. Тема дипломной работы — творчество Иннокентия Анненского. В последнее время В. Кривулин в своем творчестве приблизился к «метафизической поэзии». В СССР было опубликовано всего лишь несколько его стихотворений. — Ред.

времени-вишни раздавленной, сока
 бывшего замкнутой формой вначале,
 полным, но влажным подобием ока,
 окаменевшего в вечной печали.

ЧЕРНИКА

*«Земную жизнь пройдя до половины...»
 (перевод с итальянского)*

Земную жизнь пройдя до середины,
 споткнулась память. Опрокинулся и замер
 лес, погруженный в синеву.

Из опрокинутой корзины
 струятся ягоды с туманными глазами,
 из глаз скрываются в траву...

Черника — смерть! твой ответ голубиный
 потерян в россыпях росы, неосязаем
 твой привкус сырости, твой призрак наяву.

Но кровото́чит мякоть сердцевины —
 прилипла к не́бу, стала голосами,
 с какими в памяти раздавленной живу.

* * *

Помимо суеты, где ищут первообраз,
 где формула души растворена во всем,
 возможно ль жить, избрав иную область
 помимо суеты — песка под колесом?

Вращением — следы — искривлены ступицы.
Всё искажает скорость, но и с ней
ось неподвижна, сердце не струится,
и в листьях осени покой всего полней.

Всего полнее парки запустенья,
куда пустили нас, не выяснив родства
с болезненным временем, когда пусты растенья,
когда растут пустынные слова.

Но келья — не ответ, и улица — не отклик,
и ничему душа при свете не равна
помимо суеты — нестройных этих строк ли,
отчётливых следов на мёрзлой луже сна.

Возможно ль жить, не положив границы
меж холодом и хрупкой кожей рук?
Страдательная роль певца и очевидца —
озноб души распространять вокруг.

Кто вовлечён в игру — столбами соляными
застыли при обочине шоссе,
но кто промчался — исчезает в дыме
ступицей, искривлённой в колесе.

Из этих двух не выбрать виновата,
когда я вижу: выбор совершён
помимо них, когда изменой брата,
как лихорадкой, воздух заражён.

Олег ОХАПКИН

Охапкин — стремительность стиха, пытающегося вырваться из гранитного плена Города. И поэзия — в этом движении, в порыве. Если бы вырвался — кончилось бы всё.

За надрывную муку орфических струн —
 Заклинаю тебя, фальконетов бурун, —
 Вознеси мою душу превыше коня,
 Или призрачный Всадник раздавит меня...

Так *начало* Города, приобретя апокалипсические признаки, становится очень похоже на конец...

У Охупкина тяга к классическому настолько сильна, что он даже пытался пройти назад по времени *за* классицистические времена — прямо к Кантемиру, к его силлабическим виршам, но, к счастью, отбросил это чужое нам, принесенное через польскую книжность XVIII в. корявое звучание, ибо не латинское, а варяжское, не римское, а нордическое ближе русскому духу и ритму. Русский поэт остался собой.

Петербург, пронизанный античной трагедией, — вот охупкинская лирика.

ВТОРОЙ ОРФИЧЕСКИЙ ГИМН ФЕВРАЛЮ

Свистящий и режущий, режь и свисти,
 Сжигай мою душу, февраль!
 Пока я, как снег, не растаю в горсти,
 Расти и вращай в меня, враль!

Прошей мою печень отравой вина
 И жизнь мою сном оболги!
 Душа твоя смертью моею пьяна.
 Нарастивай, сука, долги!

Крени меня, падло, в падучей трясини!
 Не парусник я, чтобы дна
 Бояться — живой я, не иже еси,
 Но жизнь во мне только одна.

Одна. Да, одна. Оттого и зову
Тебя обобрать меня. Ну!..
Бери, да и что там! Я пьян наяву,
До сна же едва ль дотяну.

Похмелье ль, могила ли там впереди,
Иная ль какая печаль...
Я пьян, да и полно. Ди́онис в груди
И блядь на коленях, горчаль.

Прогорк я, отравлен. Вакханка визжит.
На сердце же льдина, тоска.
Любовь ли то плачет, окно ль дребезжит,
Но скрипка свистит у виска.

Ошибся. Транзистор то, Григ... Он запел.
Я запил. Прости мне, Адель!
Немного я в жизни и в сердце имел,
Но вьюга моя колыбель.

И ныне я слышу: не Сольвейг зовет,
Но дикая скрипка-метель,
И если мне сердце тот звук разорвет,
Февраль разберет мне постель.

В сугробе меня убаюкает он,
Качая курящийся снег,
И буду я слышать не хор похорон,
Но вьюгу, но ветра разбег.

Российская стужа, норд-ост колотун
Убьет меня гилью и тьмой,
Зане я касался орфических струн,
И дух мой не сжился с тюрьмой.

Прими же меня в этот музыки строй
И в оргии душу мою

Орфической, отче Дионис, укрой
Поющей стихией, молю!

1971

КВАДРИГА

Светлой памяти Пушкина

Нет ничего ужасней и странней
Квадригой черной сросшихся коней.
Имперской бронзой ставшие навек,
Они тебя раздавят, человек!

Чудовищны четыре жеребца,
Застывшие под лаврами венца.
Звериная душа, металлом став,
Ожесточила тварный свой состав.

Уже не всадник, слившийся с конем, —
Зверообразный памятник. На нем
Печатью узурпаторской узды —
Ездок, забравший жуткие бразды.

Уже не конь, что издали — кентавр —
Над колесницей лицемерный лавр, —
Таврѣный и подкованный табун,
А сверх всего — орел, не то горбун.

Триумф когда-то горнего орла —
Звероподобье, в коем умерла
Прообраза божественная часть —
Над зверем человеческая власть.

Колеса не прибавили коню
 Величия. С квадригой не сравню
 Пегаса, распластавшего крыла
 Превыше бронзы, лавра и орла.

Прекрасен и высок без седока
 Сей конь, чье беззаконье на века
 Крылами попирает испокон
 Звероподобный, вздыбленный Закон.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Ю. Ш.

Давно так не звездило по ночам.
 Всё осень, осень, облака да тучи...
 Эпохи поворот тем круче, круче,
 Чем чаще люди ходят по врачам.
 Увы, меня не тронула простуда!
 Хоть весь продрог, я не о том скорблю.
 Смотрю в пучину в жуткой жажде чуда,
 Но не дано разбиться кораблю.

Давно так не звездило по ночам.
 Всё ветер, ветер, сумрак и ненастье...
 Пусть непогода треплет наши снасти,
 Но бури нет и дождь по мелочам.
 Так муторно, что хочется к причалу.
 Но берег, берег... это позади.
 И плаванье не обратить к началу,
 Когда еще бессмертье впереди.

Давно так не звездило по ночам.
 Всё свечи, свечи, тусклая каюта
 И паруса в полете без приюта,

Да ржавчина по доблестным мечам.
 И, ужас наводящая, свобода,
 Когда покой, как призрак в тишине.
 И дух не утоляет непогода,
 И вечный парус, парус при луне.

Давно так не звездило по ночам.
 Всё бегство, бегство: комната и книги...
 В пространстве туч имперские квадриги,
 В эпохе даты — все по палачам.
 Лишь палуба Летучего голландца
 Вне времени, законов, перемен.
 Но и на ней опасно без баланса, —
 Свободен дух, но и скитанье — плен.

БОРИСУ КУПРИЯНОВУ

*Кто выдумал, чтоб жизнь была беда,
 А самой страшною бедой была свобода?*

Б. К.

Ты ли, юность жестокая, душу его сокрушишь!
 Вот прошел я вратами ревушей дороги Улисса,
 И со мною — один, благодатною силой Зевеса
 Уцелевший пловец, ставший мужем в скитаньях, малыш.

Пощади его Рок! Он — единственный жуткой Афины
 Копьеносец смиренный, и бранью ее, не броней
 Пред тобой утвержден. Дикий посвист его соловьиный
 Рвет мне душу, и раной болит, и гремит предо мной.

И заслушался я, пораженный. Какое смиренье
 В этой песне унылой и рвущей из сердца печаль!

О, владычица мощная! Жизни суровой не жаль,
Только б слышать такое, тобой просветленное пенье!

Вера ФРЕНКЕЛЬ
(1929 — 1974)

Ни одной строчки Вера Френкель при жизни не опубликовала. Первая книга ее стихов — посмертная — готовится к изданию в издательстве «Ритм». Френкель была широко известна как переводчик польской, немецкой, шведской и датской поэзии.

Стихи ее стали известны лишь после ее самоубийства в 1974 году — так же, как стал известен лишь после смерти один из самых тонких лириков послевоенных лет — Роальд Мандельштам.

Стихи Веры Френкель наполнены туманом, страхом перед этим туманом болотистого Севера и гранитного неуютa. Картины природы и города у нее неколебимо статичны. Мир застыл на черно-белой фотографии, и стихотворения ее, одно связанное с другим, — как фильм, из неподвижных этих фотографий составленный. Как монотонный шум дождей, стремящийся что-то выразить и заранее чувствующий, что всё сущее — невыразимо...

* * *

Мост утончился в медленном дожде,
течет, приподнимается до стыка,
я вижу одновременно два лика,
два цвета ратоборствуют везде.
Коричневато-красный колорит —
Туман окрашивается в гранит...

ГОРЫ КАБАРДЫ

Речь древняя о людях и конях —
В живых камнях.
И синь.
И розов движущийся образ.
Прообраз
Картин, трагедий и скульптур —
Рожденье полыхающих культур.

СТАРАЯ ЛАДОГА

Собор, приподнимающий крыла
столетия — защитно — головой
могучей
недвижимо удерживает тучи
сгустившегося векового зла.
Клубится сотрясающий их гром,
Земля стоит спокойно под Крылом.

* * *

Да, бесприютней может быть едва ль
Тому, кто плавал в чуждом океане.
Наполненное время перед вами,
А для меня — полна фантомов даль.

В лицо мое безлюдный мир проник,
Ненаселенный, плоский, как луна.
Вы ж делите друг с другом каждый миг,
Любая ваша мысль населена.

И рядом с вашим кажутся странней
Те вещи, что со мною входят в двери:

Им стыдно здесь дышать: они здесь — звери,
В обжитой вашей, светлой стороне.

ЦЕРКОВЬ

Здесь надежная охрана:
Замкнутый круг храма...
Два-три года разве что просочатся
За пределы пространства.
А годам тут счет утерян,
Не утечет время...

* * *

Даже дым недвижим.
И на стенах застыли тени.
Шевелиться лень им.
И замер снег...
Раскрывается небо, посинев.

Игорь БУРИХИН

И. Бурихина впервые опубликовал журнал «Континент» №8. Его стихи сопровождаются биографической заметкой В. Марамзина. Я же хочу сказать кое-что о его стихах, которые публикуются здесь. Остальные войдут в первую книгу поэта, которую собирается выпустить изд-во «Ритм» в 1977 г.

Что же принес в литературу новый поэт? Прежде всего: чего сам хочет он от своего творчества? Концовка стихотворения «дай Бог душой отягощенной...» (см. ниже) отвечает на это совершенно определенно.

В его стихах большое место занимает прием напоминания через скрытую или трансформированную цитату. Простейший случай — намёк на привычное фразеологическое

сочетание, которому поэт придает противоположный смысл. На этом приеме построено стихотворение «Под ровный рокот глушилок...». В нем о Солженицыне: «Он писал топором, поскольку собирался жить в этом доме». Сразу в памяти всплывает поговорка: «Написано пером — не вырубишь топором». Дальше мысль читающего может идти так: ну а если топором написано, чем тогда вырубить можно? И тут же другая ассоциация: топор — инструмент созидания, плотницкого искусства...

А вот строки в том же стихотворении, где задето упоминание о тютчевской строке, что «мысль изреченная есть ложь» и поговорка — «лес рубят, щепки летят». Сведение всего этого в сжатую строфу дает возможность понять больше, чем содержится в словах этих строк:

Мысль изреченная есть дело.
 А дела человеческие ведут все к смерти.
 Лес рубят — Сталин летит,
 Лес рубят — Ленин летит,
 Угоняют мавзолеи среди бела дня...

Угоняют не машины, как диктует привычка к фразеологическому штампу, а мавзолеи... Глубокий пародийный эффект ломаемой умело фразеологии дает яркие и острые повороты мысли. На таком приеме построены многие стихи Бурихина.

* * *

Движенье неба наблюдать...
 Обрывки разговоров слышать...
 Случайных женщин обнимать...
 И думать, что все это — свыше —
 такая нега в этом дне,
 такая томная нирвана,
 что именем взлетает Анна
 на грудь ко мне!

НА 13 ФЕВРАЛЯ 1974 г.

Под ровный рокот глушилок
мы слушаем гнусные речи
писателя земли русской
потерявшего человеческий облик
настолько, что ни книг его ни портретов
не увидим мы в каждом доме
не его глаза преследуют гневно
нас на каждом шагу — сквозь стекла
гробовых витрин, привиденьем
из вонючих денег, с плакатов:
уже нынешнее поколение людей
будет жить после коммунизма!

Он писал топором, поскольку
собирался жить в этом доме.
Кто сидит на коньке, на крыше
должен сам сказать, что это лишь символ
многих жизней, отнятых в жертву, покуда
возводили фундамент. Да, трудно
провести водораздел смерти между
мертвыми и живыми. А это только
первый шаг к искуплению. Но все тверже
лед забвения на новом озере чудском,
псы-строители равняют свиное рыло.

А что некоторые члены парттела
как-то Власов, осужденный в Кадые
за абсурдное желание — хлебом
накормить крестьян, попадают
в милость к Солженицыну? Что же,
он известный власовец. И недаром
славят его неофашисты, а мы не только
не отрицаем кошунственных параллелей —
напротив,
мы ставим их на одну доску,

мажем их одной черной краской.
Это и называется: заниматься
обелением фашизма!

Мысль изреченная есть дело.
А дела человеческие ведут все к смерти.
Лес рубят — Сталин летит,
Лес рубят — Ленин летит. Угоняют
мавзолеи среди бела дня, а на землю
падают мертвые птицы памяти.

Белены обьелись, пиши губерния:
снова лес рубят — летят отщепенцы.
Этот, разумеется, в ФРГ. И теперь мы знаем,
почему он в ФРГ. Потому что
КГБ. Слава воздушным пиратам,
слава!

Пусть теперь общается с Бёллем,
Пусть узнает горький хлеб эмигранта
поневоле. Да и слово-то «вольность»
сколь милее современному уху,
чем постылое «свобода». Вот главы,
собранные на просторах ГУЛАГа
вчера и сегодня. И пусть доскажет
АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО. Ибо
история превыше всего.

И да услышим
ровный рокот глушилок!

* * *

дай Бог душой отягощенной
разнообразьем плоскостей
и глубине и высоте
всекривизнами обращенных

дай Бог ничем услышать зов
ничем утерянным иль тайным
ничем проброшенным в позор
ничем умершим иль случайным

дай Бог ответствовать тотчас
как ни внезапна муть в выражах
тому что слышал умиравший
но от умерших отличась

дай Бог глотком забытия
не растворить в себе озноба
взметни опять очами злобу
у мальчика для бития

дай взмах крыла мужской закал
над непрерывным летом женским
дозволь сказуемое жестом
взорвать могущество зеркал

дай Бог меж слова и стихии
всему что будет вопреки
не славить бедствия лихие
не проклинать века глухие
не бросить тонущих руки и
от не себя убереги

За пределами этой подборки петербургских поэтов остались многие — Елена Шварц, Константин Кузьминский, Владимир Уфлянд, Юрий Алексеев, Борис Куприянов, Виктор Ширали...

«Запорожец» на мокром шоссе

Опыт технического исследования

Официально он был рожден в Запорожье, на ЗАЗе, но уж очень напоминал ФИАТ-500. Однако это внешнее сходство отчаянно опровергалось конструкторами: мол, наше, родное, отечественное дитя, ну разве что родственники за границей... Чтоб положить конец досужим вымыслам, его срочно модернизировали: удешевили сорт стали (чтоб пальцем можно было оставлять вмятины на корпусе), упростили приборную доску (это вам не проклятый Запад), резиновые втулки заменили капроновыми (которые срабатывались в два раза быстрее), всюду, где только возможно, поставили болты меньших размеров (экономия металла), да и на конвейере бывшие ученики «ремеслухи» импровизировали по вдохновению (то гайку не закрутят, то пружинку не дожмут), — словом, получилось сооружение, при знакомстве с которым опытным механикам хотелось выбросить все справочники, инструкции, — все книги вообще, исключая одной (к технике отношения не имеющей), где напечатан был плач пророка Иеремии. Опытные механики уже тогда догадывались, что владельцу «Запорожца» в сущности надо надеяться только на эту книгу, храня ее в сумке с инструментами, рядом с буксирным тросом. Однако не понимали механики, что тут был заложен высший смысл: «Запорожец» предназначался для частного сектора, а частника нечего баловать — разводной ключ в зубы и под машину. Таким образом наглядно проводилась в жизнь идея всеобщего обязательного политехнического обучения...

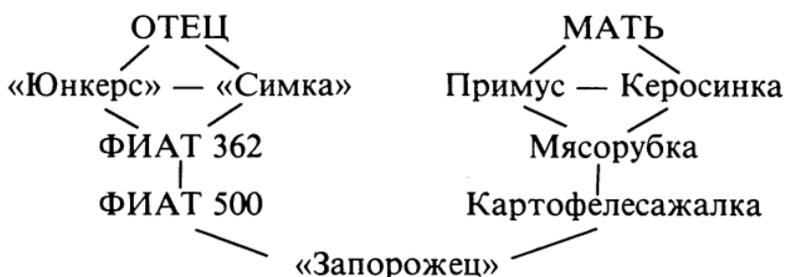
Да, важная деталь биографии: первый экземпляр

был привезен в Москву и показан Очень Большому Человеку. Очень Большой Человек, несмотря на крайнюю занятость (читал доклады послов, руководил посадкой кукурузы и репетировал произношение слова «социализм» — последнее, впрочем, безуспешно), снизошел до «Запорожца», погладил его, даже соизволил протиснуться в салон — и ничего: «Запорожец» сделал торжественный круг по Кремлевскому двору, не развалился.

И тогда его запустили в массовое производство.

Но к моменту появления нашего героя (кузов №696070, мотор 524532, шасси 46778) то ли директору завода надоело получать письма, в которых ему обещали проломить голову монтировкой, то ли уборщицы устали выметать из сборочного цеха отваливавшиеся с готовых машин гайки и болты, а может, просто молодежь у конвейера нашла себе другое развлечение — как бы там ни было, наш герой имел некую гарантию и мог проехать тысячу километров самостоятельно.

Геральдическая линия



Из семейного альбома

— Я хочу, чтобы у меня родилась голубенькая «Импала», — шептала мама, — такая блестящая, эlegantненькая... Пусть будет глупой, но красивой...

— Зачем загадывать, — вздыхал папа, — ребенок в семье — это счастье.

Сам он мечтал, чтоб у них был сын, красный

«Форд», будущий чемпион на кольце в Монте-Карло.

Увы, несчастный случай! Мама попала под постановление. Преждевременные роды. Выкидыш. Дитя аборта.

— Как же мы назовем такого хорошенького?

— Назовем его Гантенбайн, — предложил эрудированный папа.

— Сам дурак! — возмутилась мама. — Дитя малое, неразумное. Разве оно виновато? Может, «Манечка»?

Для историков сообщаем, что в этот знаменательный день стояла какая-то погода. Какая именно и где стояла, — никто почему-то не помнит. Может, погода стояла за углом, может, пряталась на соседней улице, но на складе — как припоминают старожилы (они же сторожа военизированной охраны) — на складе под ногами что-то хлюпало.

Длинный парень в очках (именуемый в дальнейшем Хозяин) топтался посреди складского двора, а человек в грязных валенках с галошами, ватных промасленных штанах и в ковбойке с засученными рукавами (именуемый в дальнейшем Хмырь Болотный) тщательно, чуть ли не на свет, изучал накладную квитанцию.

Наконец Хмырь Болотный значительно хмыкнул (и Хозяину показалось, что его, как из выхлопной трубы, обдало перегаром, только не бензиновым, а винным), вернул Хозяину квитанцию и хриплым баском спросил:

— Студент?

— Кто?

— Ты?

— Я? — обиделся Хозяин, — я журналист!

— Чего же ты до «Москвича» не дотянул, — пристыдил его Хмырь Болотный. — «Запорожец» — несерьезная машина. Я бы на нем в разведку не пошел.

И пока Хозяин ошарашенно соображал, как же на машине можно ходить в разведку, Хмырь Болотный рассказал анекдот:

— Едет по шоссе «Запорожец» и подпрыгивает. Мильтон свистит, останавливает и спрашивает шофера. А шофер, замечу, такой же верзила, как ты, башкой в крышу «Запорожца» упирается. Мильтон, значит, интересуется, почему машина прыгает. «А я, — говорит шофер, — икаю!..»

Хмырь Болотный заржал, вновь окутав Хозяина сизым облаком. Но Хозяин быстро сориентировался и тоже ответил анекдотом: муж уехал в командировочку, а жена...

Анекдот понравился.

— Ты, Хозяин, молоток! — (впервые в жизни Хозяина назвали именуемым в дальнейшем именем). — Я бы тебя взял в разведку. — И Хмырь Болотный широким жестом пригласил к забору. — Ходи! Выбирай себе автомобиль!

У забора, сбившись в кучу, стояли новенькие «Запорожцы», недавно привезенные с завода: у одного колесо спущено, у другого — фара побита, у третьего — крыло помято... И все они были, пардон, цвета свежего детского поноса.

— Почему они такие невзрачные? — робко осведомился Хозяин.

— Чего? — вылупил глаза Хмырь Болотный, — невзр... невзр... тьфу, холера! Ты хоть какого выведи за ворота. Видишь, за забором татарин шустрит? Так он у тебя за полторы цены с руками оторвет. Скажут тоже — невхреначные!.. Армянин еще больше даст.

И подумав, предложил:

— С женой посоветуйся. Она выберет. Жена небось тоже с тобой припёрлась? То-то, угадал! Старый разведчик...

Жена действительно спешила навстречу, радостно вереща:

— Митенька! Я нашла! Пойди посмотри, какой хорошенький! И с ушками, и с глазками, прямо как живой...

«Ну, баба, дает! — покачал головой Хмырь Болотный, критически оценивая жену Хозяина. — Ишь ты, ушки, глазки... Напридумывает женский пол... И почему у всех очкастых такие оторвы? Не за что держаться. Нет, я бы ее в разведку не взял. Хотя, если пол-литра поставит...»

В другом конце двора, за двумя грузовиками, прятался наш герой: голубенький, серенький, гладенький, улыбчивый — рот до ушей!

— Смотри, какой веселенький! — пела жена. — Просто красавец!

— Точно, красавец! — подтвердил Хмырь Болотный и мрачно сплюнул: — Бери, Хозяин, заворачивай попку.

Так, с легкой руки (ноги? или плевка?) Хмыря Болотного наш герой стал впредь именоваться Красавцом.

Покатался Хозяин по двору — ничего, тянет машина. Заглянул в багажник. Бензобак на месте, запасное колесо имеется, домкрат на дне валяется... Где сумка с инструментами?

— Здорово работают ребята! — восхитился Хмырь Болотный. — Инструмент спёрли!

Хозяин вздохнул и достал три рубля. Хмырь Болотный проворно утопал к забору, открыл багажник крайнего «Запорожца», приволок сумку.

— Считай, Хозяин, должен быть полный комплект.

Расстались друзьями.

Выехали за ворота. Красавец повилял, принялся, потом напрямик направился к ближайшей бензоколонке. Подзаправившись, весело фыркнул и бодро почесал по московским улицам. Только кустики мелькали. Но за один квартал до хозяйского дома Кра-

савец вдруг закашлялся и встал. И дальше ни в какую!

Хозяин тыкал скорости, выжимал сцепление, крутил заводную ручку, — взмок Хозяин, отчаялся.

Красавец не чихнул и с места не стронулся.

Вылезла жена и вместе с Хозяином стала толкать Красавца к дому.

Публика собралась. Естественно, комментировала.

Но Красавец сжал зубы и не поддался на провокации. Приехал домой, как и положено новорожденному, на руках. Показал характер.

Первые детские шаги. Еще чувствуешь какую-то неловкость. Задеваешь заборы, столбы. Не можешь прямо пройти в ворота. Досадные ссадины, царапины...

Недели не прошло, а Хозяин отличился: заводя мотор, забыл переключить скорость на нейтральную. Машина как стояла у подъезда, так и поехала. Хозяин с перепугу нажал не на тормоз, а на газ.

Что оставалось делать Красавцу? С разгона влетел в парадное. Хорошо еще, обе створки были отворены. Лишь бока ободрал. Не больно? Попробуйте сами, на себе! Небось сразу в поликлинику и — на бюллетень! А мы утерлись, замазали ссадины и улыбаемся, как ни в чем не бывало! Одно плохо — соседи дразнятся:

— Эй, Митя, твой Красавец, говорят, по лестницам ходит? На пятый этаж вскарабкался?

И потом — страшно. Страшно с непривычки на московских улицах. Хозяин поначалу тихие переулки выбирал. Но осмелел, и потянуло его на шумные магистрали. А там — ужас! Таксисты-разбойники шныряют, правил не соблюдая. Черные министерские «Волги» прут по осевой, как танки. Частники проклятые тормозят перед носом. И главное — грузовики. В

Москве их видимо-невидимо: самосвалы, бензовозы, рефрижераторы, панелевозы, тягачи, трайлеры... Откуда их столько на нашу голову? Вон самосвал везет песок из Рязани в Москву. Навстречу другой самосвал, тоже с песком, из Москвы в Рязань. Почему бы не возить? Бензин казенный... Военный грузовик оставляет за собой черную дымовую завесу. У него одно колесо в два раза выше нас. Заезаешься, попадешь под такую громилу — он раздавит как пустую консервную банку и не почешется. Мы маленькие, голубенькие (слегка поцарапанные), вежливые, а они — огромные, нахальные и очень противные. Фу!

И во сне такое не приснится. Попали на Садовое кольцо, в самую «пику». С одной стороны грузовики в три ряда, с другой стороны грузовики в три ряда. А мы, вместе с легковушками, к осевой жмемся. Нам направо надо, да где там, не пускают! У грузовика железа много — разве он пропустит? Проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Дождались стрелки на поворот, но пока подошла наша очередь, переключился светофор. Встречный поток чуть не смял. Опять пошли вдоль осевой. Только решили перестраиваться в правый ряд, сумасшедший троллейбус наподдал, оглушил гудком, еле-еле успели к осевой отпрыгнуть, костей бы не собрали. Опять проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Встречный поток вынес на осевую. Сунулись вправо — шофер самосвала кулаком погрозил. Проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Колонна автобусов пионеров везет — не проскочишь. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Тащимся вдоль осевой. Развернулись! Мама, куда я попал! Замуровали!

— Вот так! — сказал Хозяин жене, вытирая потный лоб. — Будем крутиться, пока бензин не кончится!

Через три недели захромал Красавец. Поехал Хозяин за город, на станцию гарантийного ремонта. Простояли день в очереди. К вечеру мастер подошел, ошастливил.

Сняли колпак, вскрыли правое колесо.

— М-да, — сказал мастер, — подшипник надо менять.

— Ну и прекрасно, — сказал Хозяин.

— Прекрасного мало, — сказал мастер, — нету подшипников.

— Но вы же обязаны делать гарантийный ремонт! — вскипел Хозяин. — Я машину тут оставлю и возьму ее только тогда, когда почините!

— Это пожалуйста, — согласился мастер. — Подшипники обещали привезти в конце квартала. Ждите. Правда, за оставленные машины мы не отвечаем. А с запасными деталями, сами видите, туговато. Впрочем, может, кузов и не уташат...

Остыл Хозяин. Закручинился.

— Хоть до дома я доберусь?

— Смотря как поедете, — философски заметил мастер. — Мой вам совет: купите ступицу в сборе. Всего делов-то на пятьдесят рублей. Вообще-то они дефицит, но для хорошего человека — достанем...

— Жулье! — сказал Хозяин.

Развернулся Красавец и поковылял в сторону Москвы.

Два мужика, вышедшие из дверей продмага с бутылкой «чернил» крепостью в девятнадцать градусов (а может, эти мужики вышли из поэмы Гоголя «Мертвые души»?) «сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем... «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой».

И всё бы ничего, обошлось бы, да попалась выбоина на дороге. Хрястнуло что-то, и стал Красавец припадать на правую переднюю и плакать горячими слезами. Больно, ой, как больно, железо трет, можно сказать, по голой кости. И тащится Красавец на первой скорости и орет благим матом, мокрый след за ним по асфальту тянется. А Хозяин совсем обезумел, тоже слезами заливается, жмет на акселератор и повторяет, как в беспамятстве, слова русской народной песни: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...»

Ну дотяни, Красавец, дотяни, милый! Всего-то километров пятнадцать осталось. Отвалится правое колесо или не отвалится? Доедет то колесо до Москвы? Ой, какой скрежет! Сейчас полетит ось к чёртовой матери... Ничего, не дрейфь. Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Русская народная песня...

Впрочем, почему русская? Почему — народная? Переводчик Арго, листая старые немецкие журналы за 1906 год, наткнулся на любопытную страницу. Там сообщалось, что некий герр Шмидт, восхищенный подвигом русских моряков крейсера «Варяг» во время русско-японской войны, сочинил песню. Приводился текст песни: «Наверх, геноссе, все на свои места, наступает последний наш час, мы не будем сдаваться врагу и просить пощады», и соответствующая нотная запись мелодии. Арго, естественно, заинтересовался и раскопал русскую газету за 1910 год, где был воспроизведен русский текст песни, правда, с указанием, что это перевод с немецкого. Имя автора почему-то не упоминалось. В сборнике русских военных песен, изданном в 1915 году, «Варяг» занимал видное место, однако там не было ни слова о том, что это перевод с немецкого. Деликатность издателей сборника можно было понять — шла война с Германией.

Арго написал о своей находке статью, разослал копии по журналам. Как ни странно, журналы не

спешили публиковать сенсационное сообщение. Вскоре Арго вызвали в партком Союза писателей. «Ай-я-яй, — сказали партийные товарищи, — подрываете основы». — «Так ведь это случилось при проклятом царизме, — доказывал Арго, — явный факт фальсификации истории!» — «А как быть с патриотическим воспитанием молодежи? Как быть с советским кинофильмом «Крейсер «Варяг»?» — спросили партийные товарищи. Далее Арго намекнули, что как раз сейчас решается вопрос о его заграничной поездке. История с авторством песни о крейсере «Варяг» канула в Лету.

Ох уж эта История — всё норовит куда-нибудь кануть...

Что касается Красавца, то добросовестные беспристрастные историки отметили в своих скрижальных анналах (или в аннальных скрижалях?), что автомобиль советской конструкции «Запорожец» совершил свой первый гражданский подвиг: довез Хозяина до дома. Правда, ступица правого переднего колеса рассыпалась, но это уже детали. Детали Историю не волнуют. Детали Хозяин доставал на черном рынке.

Шло время (которое в нашей стране, в отличие от гнивающего Запада, целеустремленно движется к светлому будущему), и постепенно Красавец стал проявлять свой независимый, лихой характер. На глазах у изумленной публики пронесся Красавец вдоль улицы Горького по резервной зоне, предназначенной для правительственных машин. Ахнули частники, и почесали затылки выдавшие виды таксисты. А потом сообразили, что, оказывается, открыли резервную зону — горит зеленый светофор. Но все по привычке к тротуарам жались, а Красавец первым сориентировался.

В сущности, что мы теряем?

Грузовиков бояться — на улицу не ходить. К тому

же грузовики тупы и неповоротливы. А нам для разворота достаточно двух квадратных метров. Почтенные «Волги» и «Москвичи» рыдают после каждой царапины. У нас же бока жестяные — стукнули молоточком и выправили вмятину. Частники на дорогих машинах шарахаются от самосвалов, а мы в любую щель пролезем. Главное — маневр и находчивость!

...И начали в Москве поговаривать, что появился отчаянный «Запорожец», которого постоянно штрафуют за превышение скорости.

Случались, правда, и проколы. Но не в «Правах», уважаемые товарищи, в «Правах» у нас всегда рупь для милиции приготовлен. Раскрывает гаишник «Права», а там — новенькая хрустящая бумажка, сама в руки просится. Какой же зверь после этого дырку в талоне сделает?

Однажды Красавец напозволял себе... Кутил в ресторане «ВТО», развозил артисток по домам... Короче, возвращался он из Филей. Ночь. Фонари притушены. Свежий снежок выпал. А на Филях место есть такое: площадь, а посередине — клумба. Клумба плоская, ее не сразу заметишь. Тем более, когда снегом припорошена. Словом, эта площадь — классическая ловушка для новичков. И не успел Красавец опомниться, как оказался на клумбе. Тут как раз милицейский мотоцикл выруливает. Ситуация — врагу не пожелаешь.

Остановился Мотоцикл, полюбовался картинкой, а потом вежливо так поинтересовался:

— Откуда ты, друг сердешный, спланировал? Уж не из космоса?

— Нечего зубы скалить! — рассердился Красавец.
— Почему площадь не освещена? Почему создаете аварийную обстановку?

— А тормоза на что? — допытывался Мотоцикл.

— Если резко заторможу, то обязательно перевернусь. Такая у меня конструкция.

Вздыхнул Мотоцикл, припомнил, сколько «Запорожцев» в кювете вверх колесами валяется...

— Так надо было выворачивать вправо!

— Попробуй выверни на мокром шоссе! Это самосвал вывернет, а я кубарем покачусь аж до самой Москва-реки...

Видит Мотоцикл, что Красавец здраво рассуждает. Не придерешься. Действительно, могла быть крупная авария. И так эта клумба поперек горла застряла, каждую ночь — приключения. А Красавец вроде парень не промах — не растерялся.

— С клумбы хоть слезешь?

— Спрашиваешь!

— Счастливо добраться!

— Покедова!

... Но окажись Красавец не в центре клумбы, а с краю, — уловил бы Мотоцикл запах, и тогда...

И еще был случай. «Волга» прогуливалась (ну «Волга» как «Волга»: новенькая, черная, свежелакированная, с желтыми спецподфарниками, на крыше — антенна, при помощи которой можно в одну минуту поднять по боевой тревоге все дивизии мирного оборонительного Варшавского пакта), так вот вдруг мимо «Волги» — метеором — Красавец. «Волге» это почему-то сразу не понравилось. Ишь, как подраспустилась молодежь, уважение к старшим потеряла! Наподдала «Волга», чтоб наказать наглеца, да не тут-то было. «Волга», она по прямой привыкла, но, как назло, улица общественным транспортом запружена, не протолкнешься. Красавец тем временем меж грузовиков проскакивает, всё дальше уходит. Запыхалась «Волга», взопрела! Нагнала Красавца лишь при выезде из города. Поговорили у милицейской будки. Сначала, как водится, оштрафовали Красавца за превышение скорости. Но затем видит «Волга», что Красавец хоть

мал, да удал. «Волга» ему нотации читает, а Красавец в ответ:

— Да ладно, хватит, — нацепила подфарники, антенну и изображаешь из себя Братскую ГЭС! Впрочем, баба ты ничего, в теле, я бы, например, с большой охотой, вон лесок рядом...

Задыхнулась «Волга» от возмущения, а потом подумала — действительно, почему бы нет? Красавец — парень симпатичный, и не из *наших*, значит, не наступит, всё останется шито-крыто. Все мы люди, все мы человеки, всем охота, а на службе устаешь, издергаешься...

— Ишь ты, какой шустрый, — кокетливо проворчала «Волга» и убрала антенну, — мне в этот лесок нельзя. Слишком на виду. Но я знаю одно глухое шоссе, «кирпичами» закрытое. Со мной — пропустят.

И потрусили они рядышком, нежно держась за руки. Но что у них там дальше произошло, умолчим. Дело пахнет государственной тайной...

Не скроем, любил Красавец пофорсить. Бывало, садится неземное синеокое создание, юбку оправляет, носик морщит:

— Фу, тесновато! И вообще...

— Почему вообще? — негодует Красавец. — В тесноте да не в обиде. А если меня какая-нибудь сволочь обгонит, плачу пять рублей. Пари!

Ни разу не проигрывал!

Однако почти через день приходилось навещать редакционный гараж к знакомому механику. Нрав у Красавца был неукротимый, но железо не выдерживало таких скоростей. И летели поочередно подшипники, задний мост, коробка передач...

Тут спрашивают: куда именно всё это летело? Уточняем: у нас всё летит только вперед! Вперед и выше!!!

Знакомый механик похвалялся приятелю:

— Пока у Мити «Запорожец», — моя семья не умрет с голоду.

Миллионы машин выпускают Крайслеры и Форды, да и Московский завод малолитражных автомобилей старается... Бегают эта разномастная армия по автострадам и автобанам, а чего, собственно, бегают? Ну кто на нее внимание обращает? Зажимают люди уши и жалуются, что бензином воздух провонял.

Лишь одному Красавцу повезло. Сама Марианна Вертинская, знаменитая киноактриса, мечта всех московских интеллектуалов (мечта в полосочку!), выделила Красавца из общего пестрого автопотока, осчастливила, села.

И понесся Красавец, окрыленный таким доверием, окрыленный любовью! На сверхзвуковой реактивной скорости домчался до первого светофора — как назло включили красный, тормозить надо, а не тормозится! Жмем на тормоз, а педаль проваливается! Еле-еле остановились на середине перекрестка.

— Пожалуй, сегодня спешить не будем, — сконфуженно сказал Красавец.

— Лучше не надо, — охотно согласилась мечта в полосочку. Впрочем, полосы куда-то исчезли. Вместо лица — белое пятно.

Поехали тихонечко, аккуратненько, восемь с половиной км в час, — как у Феллини. Задолго до светофоров низшую передачу включаем. И почти что благополучно до Дома кино дотопали, но внезапно слева, резко усиливая пейс, инвалидная мотоколяска, — обходит, гадина! Не стерпел Красавец такого позора, взыграла молодая кровь! Коляску, конечно, мигом обставили. Но опять же впереди перекресток, а чем тормозить? Педаль проваливается! Заскрежетали шестеренки в коробке передач. Но инерция несет вперед, а впереди стена из троллейбусов и автобусов. Вперед

нельзя. Только выше! Безнадёга... В последний момент вспомнил Красавец про ручной тормоз. Правда, ручником давно не пользовались, он еще в первые дни сломался, а тут свершилось чудо — сработал ручник, выручил. Уф!

...Была в конструкции старых «Запорожцев» некая загадочность: машина идет со скоростью шестьдесят км в час, а пассажирам кажется, что не меньше двухсот. И ощущение неземной легкости — будто вот-вот взлетишь...

«Наш паровоз вперед лети, в коммуне — остановка».

Уважаемый поэт-фронтовик рассказывал:

— Мальчишкой я выступал в цирке мотогонщиком по вертикальной стене. В сорок первом служил в морском десанте. В сорок пятом прыгал с парашютом на горящую Варшаву. Но недавно вез меня Красавец по мокрому шоссе... Братцы, скажу честно: такого ужаса я никогда не испытывал!

Писатель Василий Аксенов предложил переделать «Запорожец» в еврейский танк. Приздумались арабские страны, и временно приутихли страсти на Ближнем Востоке.

Постепенно Красавец получил международную известность. Автор «Бразильских рассказов» описал случай на ипподроме:

«...по радио объявили: «В пятом заезде вместо американского жеребца Апикс-Апорт будет выступать под тем же номером русский «Запорожец».

И действительно, на призывную дорожку вслед за девятью рысаками выехала маленькая машина, похожая на «Фиат-600».

В соседней ложе заволновались:

— Кто на «Запорожце»?

— Наездник Флавио.

— Флавио? В него я верю. Может, поставить?

— Против Женестьева у него нет шансов. Смотрите, как проходит Женестьева. Битый фаворит.

— А вдруг Женестьева заскачет? Я всё-таки поставлю на «Запорожца».

— Вы старый игрок, а рассуждаете, как мальчишка. У русских машин слабые моторы... Скорее придет Трибун. Смотрите, какой лихой жеребец! Причем наездник его еще сдерживает.

Я послушал их разговор и побежал к кассе — ставить на «Запорожца». Не то чтоб я в него верил, но уж такой характер — играть против фаворитов.

Дали старт. Бег повела Женестьева, за ней держался Трибун. Так прошли полкруга. Но вот справа стал вырываться «Запорожец». Вот он обошел лидеров на корпус, на два корпуса, один, идет один, его никто не достает! Последняя прямая! Ну!

— Кажется, приехал! — завопил темпераментный господин из соседней ложи, который тоже поставил на «Запорожца». — Давай, милый! Только бы не заскакал! Господи, только бы не заскакал!

И словно он накликнул! «Запорожец» в десяти метрах от финиша сбился в галоп и пришел — галопом — в столб. Плакали мои денежки...»

В Совете министров ожесточенно спорили:

— Америку по мясу и молоку не догнали!

— Зато мы обштопали Штаты по производству шелковых кальсон!

— Не тот пропагандистский эффект. Вот когда мы спутник запустили...

— Но американских летает в три раза больше...

— Советский человек первым вышел в космос!

— И здесь мы уступаем первенство. Разве что на Луну успеем...

— По достоверным сведениям агентуры, — мрачно заявил председатель Комитета госбезопасности, — американцы раньше нас высадят человека на Луну.

— Товарищи, не надо паники! Мы всегда сможем отыгаться на неграх.

— Держи карман шире! Новый президент такой подлюка — обещает дать неграм равные права.

— Не послать ли ракету к Марсу?

— Американцы уже послали.

— Каковы перспективы орбитальных околоземных станций?

— Чихали в Штатах на эти станции.

— Может, выбросить бюст Ленина на Венеру?

— Какой смысл? Говорят, там нет компартии.

Или наверняка прокитайская...

— Может, голых баб запустим в космос?

— Нашли, чем удивить! На Западе давно сексуальная революция.

— Видимо, мы не всегда оперативно улавливаем свежие революционные веяния.

— Этот путь для нас закрыт. При существующем продовольственном снабжении революционная энергия рабочего класса должна быть направлена только на нужды промышленности.

— Тем более необходим новый успех в космосе.

— А если мы первыми высадим на Луну «Запорожца»? — раздался робкий голос.

Помолчали. Идея представлялась заманчивой...

Но по-настоящему Красавец прославился после совершенно фантастической истории. История кажется абсолютно невероятной, но, однако, поговорите со старыми московскими гаишниками. Они когда это вспоминают, сразу за животы хватаются.

Дело было простое, житейское. Вздумал Первый человек Москвы вместе со Вторым на рыбалку съездить. Без лишнего шума, скромненько, можно ска-

зять, совсем по-пролетарски. У Первого — «ЗИЛ». У Второго — «Чайка». Два шофера. Охраны — человек шесть. Вот и вся компания.

Порыбачили славно. Отдохнули. А когда назад собрались, глядь — у «ЗИЛа» сняты три колеса, — а у «Чайки» — все четыре. И аккуратно под обода чурочки подложены.

Потом выяснилось, что ехали грузины. Увидели на лужайке близ дороги два новеньких автомобиля. Темные были грузины, не сообразили, что машины правительственные — ведь в Грузии тогда любой завмаг мог «Чайку» по благу достать. Остановились грузины, прикинули обстановку. Вроде бы без присмотра добро ржавеет. (Почему без присмотра? Охранники рыбу неводом гнали, за машины не беспокоились. Известно, что у «Волг» или «Москвичей» резину воруют — но «Чайку», а тем более «ЗИЛ» в Москве ни разу не разували. Дураков нет.)

Грузины попались шальные. Решили небось — давай нашему дорогому Сулико подарок сделаем. А покрышки с «ЗИЛа» про запас сняли. Вдруг удастся самому товарищу Мжаванадзе за полцены загнать. Конечно, хозяин Грузии в «запасках» не нуждается, но за полцены — и он не откажется... Грузинов этих под Курском прощучили, далеко успели утопать, да на «левой» «Победе»... Но всё это потом было.

А в тот момент!

Фантазия у вас есть? Вот и представьте себе, что сказал Первый человек Второму, а Второй — начальнику охраны, а начальник — рядовым охранникам (капитанам, лейтенантам в штатском), а те — шоферам. Лично нам подробности неизвестны, а придумывать мы не привыкли. Знаем только, что двое охранников побежали в соседнюю деревню звонить в Москву, а остальные — на шоссе выстроились ловить «попутку». Да как на грех ни одного задрипанного самосвала — воскресный вечер, проселочная дорога, ти-

шина, и лишь травка зеленеет и солнышко блестит...

И вдруг пыль на горизонте! Кто-то катит. Штатские на изготовку. А пыльное облако всё ближе, и вот он, долгожданный, вынырнул «Запорожец». Начальник охраны даже сплюнул со злости! «Носит нелегкая всякую нечисть. Была бы хоть «Волга» — временно бы конфисковали...»

Но, видно, здорово разозлился Первый московский человек на своих служек. Страшнее мести не придумать! «Проголосовал» Первый — Красавец на тормоза.

— Здравствуйте, товарищ! Не в Москву ли направляетесь? Прекрасно! Подбросите? Садись, Иван Ваныч.

Второй покряхтел, но куда же ему деваться? Пролез на заднее сиденье. А Первый рядом с Хозяином с комфортом устроился.

Хозяин головой крутит, ничего понять не может. Сели два здоровых лба, вином от них пахнет. Остальные мужики хмурятся, а самый толстый из них — плачет навзрыд: «Петр Устиныч, подождите, сейчас пришлют из города».

Кто пришлет? Кого пришлют? Да ну их к чёрту! Наверно, пьяная компания передралась. Ладно, просят подвезти — подвезем. Мы люди не гордые. Правда, лицо Петра Устиныча показалось Хозяину знакомо. Но разве угадаешь, что вот так, запросто, с портрета в машину шагнули?

Красавец взревел и попер по проселку. Метров пятьсот проехали, и человек на переднем сиденье вежливо так предложил:

— Товарищ, может, потише поедем?

Удивился Хозяин:

— Да что вы! Скорость — пятьдесят км!

— Разве? — удивился человек на переднем сиденье и замолк надолго.

Вылезли на шоссе, и Красавец бойко почесал к

Москве. На спидометре — семьдесят. Петр Устиныч глаза закрыл. Наверно, притомился. А пассажир сзади дрожащим голосом интересуется:

— Скажите, товарищ, вообще-то машина надежная?

Хозяин рад поболтать со случайным попутчиком.

— Вообще-то всегда домой добирался. Но всякое бывало. Колесо отлетало. Руль заклинивало. А однажды, когда вез знаменитую артистку, Марианну Вертинскую, — видели небось ее в кинофильме, — так...

И подробно стал Хозяин рассказывать, как с Вертинской по Москве путешествовали и как тормоза отказали. Слово за слово, но замечает Хозяин, что на шоссе нечто необычное происходит. Откуда ни возьмись, выскочила милицейская «Волга» — полосатая «раковая шейка», с фонарем на крыше, и пошла впереди, по самой середине шоссе, встречные машины к обочине прижимает, вроде бы дорогу расчищает? А кому? Сзади две «Чайки» пристроились и защитного цвета бронетранспортер. Хозяин благоразумно решил их пропустить, тормознул. Но «Чайка» и бронетранспортер тоже привстали, не хотят обгонять, в кильватере держатся.

Тем временем рассказ о путешествии с артисткой Вертинской подошел к моменту, когда инвалидная мотоколяска резвый темп навязала и еле-еле ручной тормоз выручил. И услышал Хозяин шёпот сзади:

— Петр Устиныч! Рисковать своей жизнью вы не имеете права! Партия вам не простит.

И так как ответа не последовало, то голос сзади окреп:

— Товарищ водитель! Правь к обочине. Останавливай, да осторожно.

Ну кто этот задний пассажир Хозяину? Случайный попутчик! Но в голосе звучали такие нотки, что Хозяин стих, как кролик, и беспрекословно на тормоза!

Тут только открыл глаза Петр Устиныч, окинул окрест себя затуманенным взором и вымолвил со значением:

— Директора Запорожского автозавода гнать надо из партии...

И уже с другой, ленивой, снисходительной интонацией добавил:

— А вам, товарищ, счастливого пути. Звоните, если что...

Правда, телефона своего почему-то не оставил. Но крепко руку пожал.

Задний пассажир буркнул что-то нечленораздельное и бегом в кусты.

И опять Хозяин в недоумении. Видит, что рядом с Красавцом две «Чайки», две «Волги», бронетранспортер — всем им тоже приспичило, что ли? Всем в кусты надо?

Нажал на газ Хозяин. Подальше от веселой компании.

Однако через пять минут с диким свистом обогнала его эта колонна, чуть в кювет не сдунула. И скрылась за горизонтом.

Всю следующую неделю ломал Хозяин голову, кое-что стало проясняться. А потом остановил его на Садовом кольце гаишник. Разговор обыкновенный. «Почему на желтый проехали?» — «Я не проезжал!» — «Три рубля штрафа!» — «Да клянусь вам, зеленый был, товарищ инспектор!» — «Ах, спорите! Пойдете в воскресенье на лекцию!» — «Да не я один проскочил. Я держался за черной «Волгой». — «Волга» вам не указ! Ваши права! И явитесь на Подкопаевский для пересдачи!»

Впредь наука: не лаясь с ГАИ. Отобрали права.

Инспектор справку заполнял: имя, фамилия, место работы, марка машины, номер...

Как до номера дошли, споткнулась бойкая ручка. Прищурился инспектор:

— Товарищ водитель, вы случайно в прошлое воскресенье на Истринском водохранилище не отдыхали?

Вопрос с подвохом. Значит, и там нарушил? Семь бед — один ответ, всё равно — плакали права!

— Было, товарищ инспектор. Я человек честный. Правду говорю. А на желтый я не проезжал.

Хихикнул инспектор, но разом взял себя в руки. Приосанился. Голос официальный, а глаз — веселый.

— Катайтесь, товарищ водитель. Только скорость не превышайте. Говорят, в «Запорожце» без привычки не проедешь...

И справку тут же порвал. Водительские права вернул. Взял под козырек.

Сейчас, конечно, все твердят: почему Красавец делал так, а не так, и надо было, и ему бы следовало, и лучше, и тогда наверняка, и вообще — и прочую дребедень. Короче, никто не понимает, почему он был таким. А ответ ясен — характер.

Красавец был маленьким, на него всегда смотрели свысока, а он не желал этого. Он задира, по возможности, нос и доказывал, всем доказывал, что он, Красавец, не такой уж маленький, и способен, ей-Богу, способен на многое. Он просто не мог жить в постоянном унижении!

Конечно, если бы Красавец смирился со своей участью и никогда бы не превышал сорока км в час, тогда, конечно, он бы благополучно дотащился до уважаемого возраста и законной пенсии. Ведь недаром портрет основателя соцреализма вещает с недостижимых высот: «Рожденный ползать — летать не может». Кажется, точный марксистский закон, основанный на передовом материалистическом мировоззрении. А Красавец всё время его нарушал! Не хотел Красавец ползать, он летал — и летели ошметки передового закона, и летели карданные болты, и летел Красавец по дорогам России, с выбоины на колдобину. («Эх, подмосковные, дороги ровные»... Почему автора этой песни еще не настигла монтровка шофера?) В Крыму обставил

всех ялтинских таксистов, за ночь проскочил от Мелитополя до Тулы, установил мировой рекорд скорости прохождения московских улиц в самую «пику» (от проспекта Вернадского до Выставки достижений народного хозяйства — 22 минуты!!!) — эх, Красавец, Красавец, «такой маленький, такой хорошенький», где сейчас твои ушки и глазки?

...Могильным холодом повеяло с булыжного шоссе у Игналинского озера. Бешеная гонка за литовской «Волгой», вертихвосткой с распущенными патлами, сто километров по булыжнику... Литовка зазывно смеялась и крутила «динамо», но у самой Игналины — сдалась, уступила. Ночь. Луна. Соловьи. Любовь.

А потом, когда «унялись волнения, страсти», вывесили Красавца на подъемнике Рижской станции техобслуживания. Тронул мастер колеса и закурил. Болтаются колеса! Подошел механик, полюбопытствовал и почесал затылок. Подошел слесарь, удостоверился и почесал себе место, откуда ноги растут. Подошел сварщик, охнул и почесал себе еще более интимное место.

Стояли и чесались. А что еще делать? Сработались у Красавца втулки переднего моста. Двенадцать капроновых втулок. Цена каждой — ровно три копейки, но не достать этих втулок ни в Риге, ни в Таллине ни за какие деньги. Нет этих втулок по всей Прибалтике, нет их ни в Ленинграде, ни в Белоруссии. Шагающие экскаваторы есть, трелевочные тракторы в наличии, самоходные комбайны имеются, даже танки класса «амфибия» с инфракрасными фарами — пожалуйста, пригоним хоть тысячу! Но вот втулок капроновых, трехкопеечных, на всей территории, на которой могут разместиться три Франции плюс один Люксембург, втулок — ни одной штуки! (Может, именно по этой причине Франция и Люксембург не спешат здесь размещаться?)

— Хозяин, — сказал мастер, — давай я тебя развеселю. Новый анекдот. Едет по шоссе «Запорожец» и подпрыгивает. Останавливает его милиционер, спра-

шивает у водителя, почему машина прыгает. А водитель, русский парень, отвечает: «Это я ик-каю!»...

— Хороший анекдот, — согласился Хозяин, — смешной.

— Какой же ты друг после этого? — возмущился приятель. — Обещал, что мы вместе вернемся на машине в Москву, а теперь отказываешь... Я вон даже варенья закупил, десять банок...

— Варенье возьму, — сказал Хозяин.

— Небось чувиху подцепил? — съехидничал приятель.

— Точно, — согласился Хозяин.

С утра пошел дождь. Зарядил тупо, монотонно, на целый день. Сразу после Риги застучало правое заднее колесо. Хозяин вылез, достал гаечный ключ «на двенадцать», лег под машину. На правом кардане отставали два болта. А где еще два? Отлетели? Но почему не входят запасные? Что за чертовщина? Позавчера проверял на станции техобслуживания: карданы были в порядке, все болты затянуты наглухо.

Сзади остановился «Запорожец». (Когда на обочине из-под «Запорожца» торчат ноги водителя, другие «Запорожцы» останавливаются без приглашения. Понятно без слов: сегодня я тебя выручу, завтра — ты меня.) Шофер лег в лужу рядом с Хозяином. Добровольный консультант изъяснялся несколько вычурно, но безапелляционно, в основном оперируя одним глаголом, смягченным нами для благозвучия:

— В общем, парень, хреново! Срезались головки болтов к... самой матери! Другие не вхренаришь. Надо дрелью расхреновывать эти хреновины, а дрель сегодня ни хрена не достанешь — воскресенье, хрен им в нос и в рот, даже не знаю, где... Ты хренай, только очень хреноватенько, до Даугавпилса, там наверняка на автобусной станции дежурный хрен свой хрен хре-

новит. Дохреначишь — твое счастье, но не хрени, а то как перехренакнешься!.. Не говори, парень, все мучаются. Это не карданы, а сплошная хреня, на хреноватости хренящаяся! Отхреновывай двадцать км в час, иначе хреники захренарят, и колесо на хрен. И будешь горько плакать!

Далеко-далеко (так и хочется добавить: «где кочуют туманы»), на 71 километре, с проселка выехал грузовик, оставив на черном лакированном шоссе желтые разводы мокрой глины.

Хозяин не смотрел на дорогу, а вертел головой и прислушивался — не раздастся ли вновь стук заднего колеса?

Красавец, не чувствуя твердой руки, постепенно набирал привычную скорость...

«Так я и буду за тобой тащиться всю жизнь? — думал Красавец, нагоняя «Волгу» с ленинградским номером, — раскорячилась на самой середине шоссе, а по правой стороне, как положено, ездить не умеешь? На прямой, конечно, где тебя достанешь! Сил много, ума не надо! Вон, видишь, поворот? Там мы с тобой и разойдемся, как в море теплоходы. Страшновато на повороте? Тормозишь? Прощай, бабка! А это что за образина вылезла? Мама родная, его величество самосвал! Отдыхал бы под навесом, газетку бы почитывал — так нет, дома не сидится. Привет, привет, привет горячий!.. Еще один самосвал, как сговорились! Всех грузовиков не обгонишь, но к этому надо стремиться! Старушка «Победа», естественно, прет тоже посередке. «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер...» Давай, давай, принимай вправо! И кому только выдают шоферские права? «Москвичи»-двойняшки, где маму потеряли? Вежливые попались ребята, мигалку включили, сами дорогу уступают... Спасибо, родные! Девочка под деревом «голосует».

И почему Хозяин ее не берет — могли бы и подвезти с ветерком... «А дождь идет, а дождь идет, и всё вокруг чего-то ждет...» Кто эту песню поет? Нина Дорда? Ладно, почешем в одиночку. Скучная дорога. То ли дело в Крыму! Там не зевай! М-да, братцы-товарищи, опять накаляется обстановка на Ближнем Востоке. Ну вот я, простой советский «Запорожец», в политике ни бум-бум, но ежели меня спросят, скажу: «Арабы завсегда нас обманут. Им лишь деньги давай, а как американцы больше заплатят — перекинутся в империалистический лагерь». Вообще всё — суета сует. Мало духовного в нашей жизни. Погрязли в тряпках, в запчастях. Быт проклятый заедает. А между прочим, ночью взглянешь на небо — там звезды. И вокруг каждой — планеты. А по планетам этим небось тоже «Запорожцы» бегают...»

Хозяин почувствовал рывок, и машину понесло вправо. Накатилась зеленая волна... И еще несколько мгновений, пока летели сквозь кустарник, Хозяин пытался вывернуть руль, но, казалось, скорость всё увеличивается.

— Мама! — крикнул Хозяин.

Удар.

Сколько времени прошло? Секунда? Минута?

Хозяин вставал, подвывая, и видел разбросанные рубашки, книги, чемодан с отломанной крышкой, майку на ветке дерева...

В пяти метрах, уткнувшись разбитой головой в дно канавы, лежал Красавец. Задние колеса еще подрагивали, задний подфарник мигал, агонизируя.

И сразу очень страшное: крыша «Запорожца» и правый бок — весь в красной жидкости! Миг ужаса.

«Но нет, нет, — соображал Хозяин, — не может быть в одном человеке столько крови! Вот мои руки, вот мои ноги! Так это варенье! Фу ты, чёрт!»

И постыдная радость: слава Богу, я живой!

Все машины, которых недавно обогнал Красавец, подтянулись, остановились. Высыпал народ. Разминали затекшие ноги, обменивались впечатлениями:

— Я как увидел, как он едет, еще подумал: «Нет, это добром не кончится!»

— А где милиция? Надо зафиксировать дорожное происшествие.

— На кой хрен? Кузов — всмятку! Доездили!

— Шофер-то цел?

— В рубашке родился! Его выбросило через правую дверь и не поцарапало! Один шанс из ста.

— Да, будь он с пассажиром — вместе бы в лепёшку.

— Гляди, руль сломан!

— Руль и спас! Если графически вычертить, то вектор движения от силы удара и амортизации руля смещается вправо...

— Господи, кровищи-то!

— Да не кровь это, тётка, а варенье.

— Варенья жалко. Смородиновое или малиновое? Смородина нынче в цене...

— На буксире пойдёт?

— Колеса заклинило...

Слова. Слова. Слова.

Однако свой брат шофер выручил. Мужики отволокли останки Красавца через дорогу, на двор хутора. Владелец хутора, кузнец Пауль, латыш, заверил Митю, чтобы тот не беспокоился. Сбережет он машину до Митинога приезда.

В теплой комнате напоили Хозяина чаем, завязали веревкой разбитый чемодан.

— Пауль, может, денег тебе дать?

Усмехнулся латыш:

— Я на чужой беде не наживаюсь.

Дохранал Хозяин с чемоданчиком до шоссе (что-то с ногой случилось, впопыхах и не заметил) — а все уже разъехались. Пустота. Дождь. И шоссе чистое. Все следы смыты. Словно ничего и не произошло. Словно ничего и не было. И может, вот-вот появится из-за поворота маленький, «такой хорошенький, с ушками и глазками»...

Час «голосовал» Хозяин. Тянул руку. Тихо проносились мимо «Волги» и «Победы», да кто остановится? Много вас развелось вдоль дорог, любителей кататься на дармовщинку...

Хозяин промок насквозь, потерял всяческую надежду, — но тут притормозил старенький «Москвич». Любезные старичок и старушка. Без разговоров открыли дверцу.

...Шустрит «Москвиченок» к Риге. Скорость — не больше тридцати. Тепло в машине. Сухо. Уютно. Спокойно. А кто на 71 километре остался, кто на дворе под дождем лежит, верный товарищ, сам погиб, тебя спас — да ладно, да хватит (так, кажется, говорил Красавец), распустил нюни, скажи еще спасибо, ведь жизнь продолжается...

— Разрешите сигарету?

— С превеликим удовольствием. Хотя, молодой человек, медицина утверждает, что никотин отрицательно влияет на здоровье.

— Совершенно с вами согласен. Вредная привычка.

Вернулся Хозяин только зимой. Сунулся по инстанциям. Ему объяснили, что нужно ехать в Огрский райотдел: там бумагу должны составить, дескать, не было в этот день дорожных происшествий, никого Красавец не сбил, не задавил, не опрокинул.

Огрский райотдел милиции — двухэтажное здание, как раз напротив универмага. Чистота, пустота, благолепие. Побродил Хозяин по коридору, почитал

лозунги на стенках: «Создадим », «Добьемся », «Построим». Под плакатом «Все дороги ведут к коммунизму» секретарша чистила ногти.

Милый разговор произошел:

«Где Зам?» — «На занятиях!» — «Где Пом?» — «На объекте!» — «Где старший инспектор?» — «Участок объезжает!» — «Где начальник?» — «Нету начальника!» — «Когда его приемные часы?» — «В среду!» — «Так сегодня среда?» — «Ничего не знаю, вызвали начальника в район!»

Другой бы на месте Хозяина угомонился, явился бы в следующую среду, но Хозяин — человек нервный, взбеленился, вытащил красную книжечку, хлопнул ею об пол. Секретарша шею вытянула, обомлела: корреспондент Центральной газеты!

Юркнула секретарша в кабинет и оттуда выпорхнула, раскланиваясь, мол, проходите, пожалуйста, ошибочка вышла, я подумала, что вы простой, советский.

А в кабинете и Зам, и Пом, и старший инспектор, и сам начальник. Застегнуты, подтянуты, соответствуют должности, улыбками щелкают — прямо иллюминация, как в светлый праздник Седьмое Ноября.

— Просим! Садитесь! Пепельница слева! Лимонад или кофе? Позвольте узнать, чем наше скромное учреждение привлекло ваше внимание?

Хозяин дело понимал. Спросил о показателях. Показатели были все на уровне. Преступность в районе катастрофически падала. Бытовые происшествия пресекались профилактической работой сотрудников. Число аварий на дорогах (на тех, которые ведут к коммунизму) значительно меньше, чем в прошлом году.

Хозяин эти цифры аккуратно записал в блокнотик и, как бы между прочим:

— Кстати, об авариях. Тут летом со мной случился казус...

Товарищи из райотдела мигом всё схватывали, на ходу подмётки рвали:

— Оформим чин-чинарем! Грузовик достанем, вывезем. Где это произошло? На 71 километре? Скверный поворот. Там не то что «Запорожец», недавно трактор перевернулся! Но уже разработан проект, этот участок будем заново профилировать — смета утверждена. Поэтому не сто́ит в центральной прессе...

— Конечно, не стоит!

Руку долго жали.

И всё-таки Хозяин тоже поехал на 71 километр. Во дворе хутора по пояс в снегу лежал Красавец. Передние шины спущены, попка задрана. Рожица, сплющенная от удара, застыла в болезненной гримасе. Пустые глаза мертвы. На лбу, где засохло варенье, — красные сосульки.

Отвернулся Хозяин, шмыгнул носом, утерся:

— Спасибо, Пауль! Спасибо, что выручил! Спасибо, что сберег. Вот деньги: купи ребятам три поллитра. Пусть помянут добрым словом.

Технический паспорт Красавца́ и мотор купил какой-то народный умелец. Видимо, задумал смастерить себе механизированную тачку.

А кузов «Запорожца», бранные останки, куда девать?

Заседала авторитетная комиссия. Решала.

С одной стороны, было мнение, что раз характер Красавца́ бесспорно героический, то соорудить Красавцу́ памятник, прямо у дороги, на месте происшествия.

Но, с другой стороны, всплыли иные мнения. Дескать, морально Красавец́ был не очень устойчив (припомнили наезд на клумбу в нетрезвом виде, лихачество на Крымском шоссе).

А физически устойчив? Физически совсем неустойчив!

Зачитали заключение иностранного специалиста. Иностранец аж диву давался. Иностранец анализировал технические данные и утверждал, что, по идее, Красавец должен был попасть в аварию при первой же попытке обгона, перевернуться на третьем повороте, потерять колеса на четвертой тысячи своего километража, сгореть на пятой, рассыпаться на мелкие детали — на шестой.

Огорошила всех техническая экспертиза иностранца. Такой категоричности не ожидали. Правда, кто-то вякнул, что, мол, близко к истине: ведь не случайно сняли с производства старый «Запорожец», запустили новую, модернизированную модель — на ошибках учимся!

Но сурово сдвинул брови председатель комиссии.

— У иностранца кишка тонка! Не понимает, жук валютный, русского характера. Подумаешь, технические данные! А как во время войны? Хлеба четыреста грамм, луковица, три патрона в винтовке — и ничего, разбили немца! Победили! И все миролюбивые народы Европы нам до сих пор благодарны. Вот так!

Постановили: возвести на 71 километре бетонный постамент, водрузить туда кузов Красавца и плакат соответствующий. Утвердили единогласно.

Однако, как иногда еще случается, решение приняли, а проведение его в жизнь — не проконтролировали.

Бетон для постамента, точно, достали. Но весной в колхозе коровник рассыпался, бетон туда и утянули.

Район задолжал Вторчермету, и пионеры кузов «Запорожца» на металлолом сволокли. Тем самым район план перевыполнил.

Зато плакат остался. Поезжайте на 71 километр шоссе Рига—Даугавпилс, полюбуйтесь. Высокий плакат, красочный. Железные опоры, алюминиевая доска. А на ней несмываемыми, светящимися ночью буквами написано:

«СОВЕТСКОЕ — ЗНАЧИТ, ОТЛИЧНОЕ!»

Литературная критика

Владислав КРАСНОВ

Многоголосость героев в романе Солженицына «В круге первом»

Памяти М. М. Бахтина

В одном из редких высказываний о своем искусстве, в интервью с Павлом Личко в 1967 году, Солженицын употребил слово «полифонический» в применении к своему творческому методу и предпочитаемому жанру:

«Какой литературный жанр считаю наиболее интересным? Полифонический роман, точно определенный во времени и в пространстве. Без главного героя. Автор романа с главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. А как я понимаю полифонизм? Каждое лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не даст предпочтения. Каждое созданное им лицо он должен понять и обосновать его действия. Однако ему нельзя терять почву под ногами. Именно таким методом я написал две книги и намерен написать еще одну»¹.

Две книги, на которые ссылается Солженицын, это, несомненно, «Раковый корпус» и «В круге первом», обеспечившие ему Нобелевскую премию за 1970 год. Намерения же насчет еще одной явно указывают на трилогию, первый узел которой вышел в свет в 1971 году под названием «Август четырнадцатого».

Статья представляет собой перевод сокращенного варианта докторской диссертации «Polyphony of «The First Circle»: A Study in Solženicyn's Affinity with Dostoevskij», защищенной автором в США в 1974 году. — Р е д.

Ясно, что, связав с полифоничностью большую часть своей творческой продукции, писатель придает этой концепции исключительное значение для понимания своего творчества. Хотя Солженицын и не ссылается ни на Достоевского, ни на Бахтина, он употребляет термин «полифонический» именно в том значении, в каком Бахтин ввел его в научный оборот в 1929 году, определяя им главное, принципиальное свойство творчества Достоевского². Поэтому высказывание Солженицына неизбежно наводит на мысль о принципиальном сходстве его художественной концепции с полифоническими романами Достоевского.

Разумеется, высказывания любого автора о своем искусстве отнюдь не указка критикам. Однако в данном случае мнение Солженицына не только заслуживает, но и настойчиво требует самого серьезного рассмотрения. Во-первых, потому, что вопрос о полифоничности и Достоевском не просто академический или исторический, а имеет прямое отношение к современным поискам путей в искусстве и в культуре вообще. Во-вторых, Солженицын — слишком волевой и осознающий себя творец, чтобы можно было пренебречь даже его намерениями. В-третьих, и это самое важное, его высказывание послужило для меня подтверждением моих собственных наблюдений над его творчеством. В этой статье я попытаюсь доказать полифоничность романа «В круге первом», ограничившись разбором многоголосой оркестровки ведущих героев романа.

Начну с того, что некоторые критики на Западе уже указали на определенные полифонические черты романа, хотя и не употребляя этого термина. Согласно одному из них, автор романа — «сострадатель, а не ругатель. Большинство его героев, даже охранники шарашки, изображены с симпатией»³. Подобные наблюдения заставили другого критика признать, что Солженицыну удалось создать «иллюзию, что в рома-

не нет романиста», т. е. что автор никогда не ставит себя между героями и читателями⁴. Вышеуказанный эффект, эффект «стушевавшегoся» автора, как раз и является одной из главных целей замысла полифонического романа: чтобы создать «свободных людей» и обеспечить многоголосие их самостоятельных идеологических голосов, писатель должен избежать соблазна вставлять свой «голос», свою точку зрения, свое мировоззрение между читателем и изображенным лицом. Именно умение достичь этого эффекта выделяет Достоевского из среды современных ему романистов. В то время как никому не представит труда распознать авторский голос Льва Толстого,

«...голос Достоевского для одних исследователей сливается с голосами тех или иных из его героев, для других является своеобразным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, наконец, он просто заглушается ими»⁵.

Подобная задача возникает перед читателем романов Солженицына, коль скоро он пытается заглянуть за само собой разумеющееся отрицание «сталинизма». Одни критики поговаривали о близости Солженицына к толстовству; другие — к стойкам; третьи — к русским народникам; четвертые не могли решить, ближе ли он к «нравственному социализму» или к православному христианству.

Разнобой мнений по вопросу о главном герое романа «В круге первом» особенно показателен. Хотя большинство критиков в конце концов пришло к заключению, что Нержин — главный герой, сделано это было не столько из анализа самого романа, сколько из сопоставления героя с биографией писателя. С другой стороны, рецензент авторитетного и респектабельного английского журнала «Таймс Литерэри Супплемент» дошел до того, что поставил Рубина на одну доску с Нержиным как выразителя авторского голоса. Литературную же модель для этого тандема он нашел

у Толстого: подобно, де, «Войне и миру», роман Солженицына «основан на диалоге двух главных героев», оба из которых «являются воплощениями двух разных аспектов авторской личности. Глеб Викентьевич Нержин — это солженицынский Пьер, а Лев Григорьевич Рубин — Андрей». Подчеркнув, что вопрос о главном герое не мелочный, а определяет собой идейный замысел романа, рецензент пришел к заключению, что «Солженицын не решается выбрать ни нержинский уединенный солипсизм, ни рубинский коллективный оптимизм, и вопрос остается честно нерешенным»⁶.

С этим сильно расходится мнение американского литературоведа Хэлен Мучник. Для нее не может быть сомнения, что Нержин — главный герой. Что же касается Рубина, Солженицын не только не помышляет о выборе его пути, а наоборот, «осуждает в нем основные принципы коммунизма, логику диалектического материализма и официальную этику советского государства». В дореволюционной литературе она видит его духовных предшественников не в толстовском дуэте, а в Раскольникове и Базарове, ибо, подобно им, «он развращен интеллектом». По контрасту с теми критиками, которые склонны сблизить Рубина и Нержина идеологически, Мучник подчеркивает их идеологический антагонизм: «Как люди они друзья, как мыслители — враги». В пореволюционной литературе они «подобны пастернаковским Живаго и Стрельникову: с одной стороны, самостоятельный, просвещенный человек, противостоящий русскому коммунизму из гуманных соображений, с другой, — его адвокат и пропагандист, толстокожий последователь официальной доктрины»⁷.

Между этими двумя крайними мнениями приходится солженицынское определение полифонического романа как романа без главного героя, что означает, что при создании романа «В круге первом» писатель уже отказался от концепции главного героя — по край-

ней мере в том смысле, в котором она употребляется в гомофонических романах. Но почему же Нержин, например, не может считаться главным героем?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего условиться о критериях для квалификации главного героя. Солженицын подсказал один такой критерий: удельный вес внимания и места в романе. Второй, не менее важный критерий, это та степень, в которой то или иное лицо выступает в романе в качестве выразителя авторского мировоззрения и «голоса». Судя по первому критерию, Нержин и в самом деле едва ли может тягаться с такими «главными героями» в истории русской литературы, как Базаров в «Отцах и детях», Нехлюдов в «Воскресении» или Мелехов в «Тихом Доне», не говоря уж о тех подчеркнута главных, чьи имена вынесены в заглавия книг: Онегин, Печорин, Обломов, Живаго и солженицынский собственный Иван Денисович. Даже допуская, что Нержину было уделено несколько больше внимания и места в романе, чем Рубину, Сологдину, Сталину или Володину, нельзя не признать, что Солженицын проявил чрезвычайную ровность в обращении с разнородными фигурами романа. Но почему же, спросят меня опять, Нержин не может считаться главным героем как выразитель авторского мировоззрения? Не «главный» ли он в том смысле, как Левин в «Анне Карениной» или как Штольц в «Обломове»? На этот вопрос нельзя ответить безусловным «да» или «нет». С одной стороны, Нержин и в самом деле очень близко отождествлен с автором в самом романе: биографически, идеологически и, что не менее важно, как потенциальный «летописец Пимен» сталинской эпохи, наделенный к тому же незаурядным художественным даром в «Улыбке Будды». С другой стороны, главный упор в романе делается не на нержинское или еще чье-либо мировоззрение, а на сосуществование *разных* мировоззрений. Тематически это яснее всего выражено в нержинском

тосте за дружбу узников, *невзирая* на их существенные политические и идеологические разногласия, и в его роли миротворца и сократической «повивальной бабки». Структурно же этот замысел мастерски воплощен в многоголосой оркестровке современных «мудрецов», обреченных на современный же «первый круг». Уже за «лицейским столом» их шестеро: сталинист Рубин, «сочинивший» заглавие романа, и Пряничков со «сдвигом фаз», наделивший рубинскую «идею Данте» противоположным смыслом; «нестареющий идеалист» Кондрашёв-Иванов и допотопный марксист Адамсон; «мавринская пифия» и «мракобес» Сологдин и аполитичный Потапов. К ним надо добавить и «сермяжную истину» Спиридона, и теорию цикличности Руськи, и жертвенность Агнии, и прозрение «эпикурейца» Иннокентия Володина. Неслучайно Нержин отвергает тост в его честь. Ведь если и признать его главным героем, то как таковой он совершенно необычен: стусевавшийся герой стусевавшегося автора. Или, поскольку сама концепция главного героя характерна для гомофонических (монологических) романов и мало совместима с полифонией, Нержина следовало бы назвать *личным героем автора*, то есть героем, стоящим ближе всех к своему создателю, но все-таки не навязанным читателю в качестве главного героя романа.

В свете этого определения попытаемся теперь решить спор критиков о Нержине и Рубине и их литературных моделях. Как бы далек от истины ни был рецензент «Таймз Литерэри Супплемент», ставя их на одну доску, нельзя отмахиваться от этой ошибки просто-напросто ссылкой на невнимательное чтение или политическую наивность западного мира. Не является ли этот промах идеологического чутья рецензента косвенным подтверждением успеха Солженицына в создании полифонического эффекта «независимости» героев от автора? Сравнивая «В круге первом» с дру-

гим романом, заслужившим Нобелевскую премию, с «Доктором Живаго» Пастернака, становится очевидно, что даже сама возможность допущения такой ошибки в интерпретации совершенно исключена по отношению к последнему. Поэтому, хоть и соглашаясь с Хэлен Мучник в идеологической оценке Нержина и Рубина, не могу не заметить, что *художественно* ее аналогия с Живаго и Стрельниковым так же необоснована, как и сравнение с Безуховым и Болконским. Необоснована она хотя бы уж потому, что только вторая часть ее определения взаимоотношений Нержина и Рубина — «как люди они друзья, как мыслители — враги» — применима к пастернаковским героям, которых читатель помнит как отдаленных соперников любовной драмы, а не как друзей. И что еще важнее: в то время как Солженицын на самом деле сумел распределить внимание и место так беспристрастно, что коммунист Рубин может показаться иным читателям главным выразителем авторских идей, ни у кого не вызовет сомнения, кому Пастернак уделил больше внимания, места и других поправок в своем романе. По сравнению с заглавным героем, фигура его соперника Антипова-Стрельникова предстает схематичной, бледной и вспомогательной.

Эта разница художественных подходов к характеристике тем более поразительна, что Достоевский является источником вдохновения для обоих современных романистов: оба склонны смотреть на события нашего времени в свете его пророчеств, оба ссылаются на его героев как на литературные модели, оба, наконец, верят, что красота спасет мир. Следовательно, если тот же источник вдохновения дал разные результаты, вероятно, последователи его восприняли и воплотили в своем искусстве разные элементы творчества Достоевского. В то время как Солженицын воспринял наиболее полно полифоничность романного замысла, роман Пастернака по существу остается в

сфере гомофонического, или монологического, искусства, несмотря на успешное применение в нем апокалипсических аллюзий и символизма в духе Достоевского*.

Вообще же, в свете работы Бахтина, необходимость доминирующей роли главного героя в полифоническом романе отпадает, так как идея автора выражается в нем не столько через «голос» или даже образ того или иного персонажа, сколько через структуру романа. Весьма примечательно, что в отношении «Братьев Карамазовых» спор критиков продолжается, несмотря на прямое указание Достоевского в предисловии, что Алеша задуман как главный герой. Задумать-то задуман, а осуществлен скорее как *личный герой автора*, а не как главный герой гомофонического типа романа. Хотя авторский «голос», в самом деле, слышнее всего в религиозных идеях Алеши и старца Зосимы, Достоевский проводит главную идею романа (идею, превосходящую его собственные переходящие и изменчивые убеждения), позволяя другим «героям идеи», даже своим антагонистам, как Иван с его «легендой», выразить эту идею так же убедительно и своесловно, как если бы он сам был ее сторонником. Предоставив своим героям-идеологам полную свободу проповеди их взглядов, Достоевский избежал сползания в солипсизм как мыслитель, а как художник уклонился от торной дороги гомофонического искусства. В соответствии со своей религиозной идеей, а именно, что свобода выбора является краеугольным камнем религии Христа, Достоевский-романист предоставляет читателю свободу выбрать себе героя по душе, хотя отнюдь и не скрывает своего собственного выбора. Солженицын, со своей стороны, сознательно устрем-

* Да не воспримет это читатель как нелюбовь автора статьи к роману Пастернака. Настаивая на его гомофоничности, я отнюдь не беру под сомнение его высоких художественных качеств.

ляясь к форме романа без главного героя, пошел по тому же пути «неэвклидова» полифонического искусства.

Поэтому если уж искать литературные образцы, с которыми можно было бы сблизить ведущих героев романа «В круге первом», то, в первую очередь, стоит обратиться не к гомофоническому искусству Толстого, Тургенева или Пастернака, а к созданиям творца первых полифонических романов. И это касается как индивидуальных портретов персонажей, так и раскрытия их взаимоотношений.

Мне представляется, в частности, что фигура Алеши Карамазова существенно предвосхищает солженицынского Нержина, несмотря на то, что с первого взгляда между ними трудно обнаружить что-либо общее. В самом деле, что может быть общего между православным почти монахом прошлого века и капитаном советской армии? Они различны и по профессии, и по образованию, и по возрасту, и по жизненному опыту. Один — и выстрела не слышал, другой — ветеран жесточайшей из войн; один — застенчивый холостяк, другой — умудренный опытом муж; один — свободный гражданин, другой — бесправный узник, не говоря уж о том, что живут они в совершенно разных Россиях. Тем не менее сходство есть, и оно существенно. Это сходство не в деталях портрета или биографии, а в нравственном облике, в этических основах их поведения, в их «хождении в народ» и в их стремлении познавать «живую жизнь» из жизни, а не из книг. Что же касается нашего тезиса о полифоничности романа, то еще более важен тот факт, что Нержин сходен с Алешей *по структурной роли* в романе, а именно — как душевный друг и доверенное лицо всех других героев шарашки. Он — мост, соединяющий «реакционеров» и «метафизиков» с материалистами и марксистами, техническую интеллигенцию с гуманитарной, образованную «элисту» с безграмотным наро-

дом, юное поколение «лишних людей» с поколением старых революционеров. Именно ему поверяют свои тайны и юный Руська Доронин и старый большевик Адамсон, «кончающий двадцатый год» мытарств по ГУЛагу; самоотверженный Герасимович и «нестареющий идеалист» Кондрашѐв-Иванов. У Сологодина он подвизается «подмастерьем Сократа», но умеет оценить и Рубина: «...когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки» (7:48)*. Как повивальная бабка сократических диалогов он помогает Спиридону разрешиться «сермяжными истинами», а в соавторы «Улыбки Будды» берет «недоуменного робота» Потапова. На свой день рождения он преднамеренно приглашает «отобранное общество», но отобранное так, что идеологические «полюса» встречаются там в мениппейном симпозионе. Словом, структурно Нержин функционирует в романе подобно Алеше в «Братьях Карамазовых», то есть как воплощенный практик и катализатор полифонии вообще и диалогического общения в частности.

Что касается Рубина, то, не отрицая его сходства с Раскольниковым (по Хэлен Мучник, оба «развращены интеллектом»), я склонен скорее видеть его духовное родство с Иваном Карамазовым. Сознвая то или не сознавая, Солженицын как бы изобразил в лице Рубина судьбу Ивана, попавшего в страну его собственной претворенной в жизнь легенды. Начать с того, что «Великий Вождь» Рубина — такая же эманация фантазии, как и «кардинал» Ивана. Как Иван сочинил своего Великого Инквизитора с целью оправдания атеистического и социалистического пути к «всемирному счастью», так и Рубин стремится оправдать судьбу России и свою собственную участь при Сталине в алле-

* Числа соответствуют главе и странице издания: Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Издательство «Посев», 1970.

горической балладе «о том, как Моисей сорок лет вел евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обетованную» (29:241). В другом месте, называя Сталина «Робеспьером и Наполеоном нашей революции», Рубин превосхищает наполеоновскую (и человекобожескую) мечту Сталина о том, чтобы стать «императором планеты», мечту, развернутую Солженицыным как бы в подтверждение «кесаревых» устремлений Великого Инквизитора (глава 21). Нельзя пройти мимо и того факта, что как Иван был вынужден в конце концов признать, что сущность его легенды сводится к принципу «всё позволено», так и Рубин вынужден признать, что нравственная основа коммунизма заключена в формуле «цель оправдывает средства», которая обычно приписывается средневековой инквизиции и на которую Иван откликнулся своей «Легендой». Наконец, именно Рубин, убежденный коммунист и сталинист, вводит в роман аналогию сталинской пенитенциарной системы с адом. Как Иван, хоть и признавая, что его кардинал держит сторону Сатаны, считает его истинным благодетелем человечества, так и Рубин развивает свою аналогию с адом с целью доказать благодетельность создателя шарашек, которому якобы «совесть возрожденца» помешала, «чтобы светлоразумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам» (2:15). Что же касается его собственной плачевной участи в стране прекрасной легенды, то Рубин объясняет ее судопроизводственной ошибкой, как бы оторвавшей его и его «булатный клинок» от «ста тысяч» ведущей партийной элиты и смешавшей с многомиллионной массой ведомых в страну обетованную. Как и Иван Карамазов, его советский наследник запутывается в тенетах своего собственного интеллекта и бессонной ночью «объективно» доходит до чёртиков и до «гражданских

храмов»: «Чего ни выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибающейся?..» (66:579).

Поскольку уж мы провели параллель с двумя братьями Карамазовыми, читатель спросит и о старшем, о Дмитрие. Не Дмитрий ли он Сологдин? не кличутся ли оба Митеньками? И в самом деле, между ними есть кое-что общее: жизненная сила, физическая красота, страстное влечение к женщинам. Тем не менее следует признать, что солженицынский Митяй как герой-идеолог напоминает скорее Ставрогина с его духовным элитизмом, волюнтаризмом и стремлением поставить себя «по ту сторону добра и зла», чем Дмитрия Карамазова. И это опять-таки служит напоминанием, что не следует развивать литературные параллели догматически, как и не следует предполагать сознательного авторского умысла за каждой из них.

Не только индивидуальные портреты Рубина и Нержина делают их духовными наследниками Ивана и Алеши, но и их взаимоотношения. Данное Хэлен Мучник определение этих взаимоотношений — «как люди они друзья, как мыслители — враги» — гораздо лучше подходит к Ивану и Алеше, чем к Стрельникову и Живаго (не говоря уж об Андрее и Пьере). Правда, у Достоевского эти друзья еще и братья, но все-таки главный упор делается не на кровное родство, а на человеческое братство. Но ведь и солженицынский Нержин, обращаясь с тостом к своим заведомо полярным в своих мироощущениях друзьям, называет их «братьями». Сходство в изображении взаимоотношений между Рубиным и Нержиным, с одной стороны, и между Иваном и Алешей, с другой, находит особенно сгущенное лаконическое выражение в сцене прощания перед отправкой Нержина в глубинные круги ада.

«— И вот, друже, — протянул он (Нержин. — В. К.), — и трех лет мы не прожили вместе, жили все время в спорах, издеваясь друг над другом, — а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне... из самых...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так все сошлось, — кивал он. — Давай поцелуемся, зверь. И принял Нержина в свою пиратскую черную бороду» (86:786).

Как тут не вспомнить знаменитый поцелуй-«плагиат» (Алеши — Ивану, после «Легенды о Великом Инквизиторе») в романе Достоевского? Хотя инициатива жеста происходит теперь с противоположной стороны, его символическое содержание то же самое: это жест любви и братства, превышающих идеологические, политические, классовые или расовые барьеры. Несомненна и взаимность жеста. Хотя автор не дает Нержину договорить, читатель сам делает вывод, что тот считает Рубина, несмотря на его марксистско-ленинский догматизм и даже идолопоклонство Сталину, одним из самых дорогих и душевно, но не духовно, близких ему людей и этим подчеркивает ущербность попыток измерять человеческие отношения идеологическими мерками. Соответственно и умозрительная «идейность» коммуниста Рубина уступает место «внеклассовой» теплоте, доброте и человечности. В последовавшей за этой сценой попытке (неудачной) Нержина примирить Рубина с Сологдиным, его идейным антиподом, Солженицын только подтверждает, что роль христообразного миротворца в духе Алеши Карамазова для Нержина не случайна, а выражает его духовную сущность.

Среди других героев шарашки Рубин, Сологдин и Нержин выделяются как своеобразная тройка, как «три богатыря» идейно-нравственной борьбы: первый — как «библейский одержимец» марксизма-ленинизма, второй — как его антипод «под личиной Александра Невского», третий — как «подмастерье Сократа», как скептик-вероискатель. С определенными коррективами, особенно на Сологдина (см. выше), трое предстают в романе, подобно Ивану, Дмитрию и Алеше,

как воплощение трех сыновей России. В этом отношении оба романа выходят далеко за рамки обычного реалистического описания эпохи и событий, как бы правдиво и документально они ни были изображены. Оба романа являются попыткой претворения современной им действительности в миф*. Так, роман Достоевского не только реалистический детективный роман об отцеубийстве в семье русского дворянина прошлого века, но и миф о духовном кризисе России на пороге затеянного социалистами-атеистами поистине грандиозного преступления против человечества, которое художник учуял в атеистических проповедях современных ему социалистов. Отрекшись вместе с Великим Инквизитором от Бога ради «хлеба» и «всемирного мира», они как бы совершили богоубийство, а провозгласив своим богом «всё позволено», расчистили дорогу не только отцеубийству, но и цареубийству и братоубийству грядущих революций и гражданских войн. В образах братьев Карамазовых Достоевский запечатлел основные типы поведения в обстановке такого кризиса. Так и роман Солженицына не только описание, как бы правдиво и общественно-необходимо оно ни было, жизни одной из шарашек, но и миф о духовной смерти России после революции и о ростках ее будущего возрождения из тех самых евангельских зерен (упомянутых Достоевским в эпиграфе к роману), которые были брошены на прозябание и смерть в самые глубокие круги земного ада.

* Употребляя слово «миф», под ним чаще всего подразумевают выдумку, неправдоподобное, недостоверное, а то и злоумышленное. Это произошло от высокомерного отношения нашего «ученого» века (после французского Просвещения) к «примитивному» духовному творчеству. Между тем древние мифы по силе художественного обобщения, по мудрости и по правдивости (если не по реализму) превосходят наши романы, особенно натуральной и реалистической школы. Главное, они никогда не стареют. Именно в этом исконном смысле здесь и говорится о «мифах» у Достоевского и Солженицына.

Как Достоевский изображает братьев конкретными русскими воплощениями общечеловеческих типов, так и Солженицын воплощает в своих героях основные типы поведения в безвыходной, казалось бы, обстановке, в ежовых рукавицах Сталина, духовного наследника и эпигона Великого Инквизитора*.

Тип поведения Рубина определяется его философским материализмом, рационализмом, коллективизмом и атеизмом, соединенными, однако, с искренней верой в Сталина-человекобога. Поведение его антипода Сологодина, с другой стороны, определяется его склонностью к «метафизике», индивидуализму, волюнтаризму и духовному элитизму. Рубинской вере в человекобога ему трудно противопоставить что-либо иное, кроме, пожалуй, веры в самого себя. Скептически относясь ко всем умозрительным философским системам, Нержин занимает как бы серединную позицию между двумя. Он, конечно, отрицает философский материализм, но не ударяется и в его противоположность, беспочвенный идеализм. Не без оснований некоторые критики определяют его позицию как «материалистическую метафизику», т. е. как религиозность, основанную не столько на Божественном Откровении или традиции, сколько на естественных науках и на личных страданиях. Крайностям рубинского коллективизма и интернационализма и сологдинского индивидуализма и национализма он противопоставляет своеобразный *персонализм*, опять-таки в духе Достоевского: в то время как его друзья не прочь пожертвовать интересами других во имя «коллектива» или «верховой личности», Нержин готов принести в жертву своим убеждениям только самого себя. Нержин — единственный из трех, кто заявляет о своей вере в Бога (в иносказательном диалоге с Надей), у него

* См. в «Гранях» № 92-93 статью В. Краснова «Эпигон Великого Инквизитора» (под псевд. Святослав Русланов). — Р е д.

больше веротерпимости, чем у его друзей. Его интеллектуальный кругозор шире, ум вбирчивей, сердце чувствительней. В этом отношении он настоящий «полифонист» (если употребить термин Бахтина в житейском смысле), отталкивающийся и от «монолизма» Рубина и от диалогов-поединков ради личного триумфа Сологодина.

В конечном счете, герои шарашки, подобно братьям Карамазовым, воплощают в себе три основных человеческих типа: 1) Лев Рубин (как Иван) — это человек интеллекта, рационалист, позитивист, уверенный, что яблоко познания уже схвачено им и находится у него в руках; 2) Дмитрий Сологдин (совпадает с Дмитрием Карамазовым только отчасти) — это тип человека воли, иррациональной жизненной силы и животного инстинкта самосохранения и самоутверждения; 3) Глеб Нержин (как Алексей) — это человек сердца, души и духовной мудрости. На более конкретном уровне они могут быть выведены из архетипов «ученого», «воина» и «святого». Разумеется, классификация эта не претендует на абсолютность: каждый тип может содержать в себе черты других типов. И никто не обречен на принадлежность к тому или иному типу, а сам волен выбрать свой путь. И конечно же, принадлежность к типу поведения не зависит от общественного положения, занятия или достижений. Так, Рубин — «ученый», хотя его академические достижения не выше нержинских; Сологдин — «воин», хотя, в отличие от двоих других, он-то именно и не был на фронте; Нержин же — «святой», хотя, вероятно, и не крещен, а становится «святым» в силу избрания жертвенного пути. Кстати, Глебом он назван, по всей видимости, не без намека на одного из первых русских святых-мучеников.

Хотя Солженицын как частное лицо несомненно отдает предпочтение пути Нержина, как романист он отнюдь не навязывает своего выбора читателю и отка-

зывается от прямого авторского осуждения тех, кто выбрал путь иной. Вместе с Нержиным он до конца настаивает не только на желательности мирного идеологического сосуществования (не исключаяющего, однако, споров в поисках истины) между героями-идеологами шарашки, но и на их дружбе. В этом отношении все трое могут считаться протагонистами романа, тогда как Сталин — их общий враг и антагонист. Как бы серьезны ни были их взаимные расхождения, они отступают на второй план перед их общей судьбой эков шарашки и узников сталинской России. Нетерпимость Сталина ко всем идеологическим «голосам», в том числе к «голосам» убежденных коммунистов, его предельный гомофонизм, заведший в «тупик» не его одного, но и всю страну, составляет главный идейный конфликт романа. Полифоническая техника романа Солженицына, таким образом, органически переплетается с «полифоническим» содержанием, которое он хочет передать читателю: что марксистско-ленинский монолог (идеологический гомофонизм, достигший предела при Сталине) должен быть преодолен не с помощью какого-либо другого монологического учения, а посредством проведения в жизнь идеологического многоголосия вообще и поисков истины через диалоги в частности. В тоталитарном обществе нет места ни Достоевскому, ни его «героям идеи»: и братья Карамазовы, и Кириллов, и Шатов, и Ставрогин — все оказались бы не выше, чем в «первом круге», все были бы принесены в жертву одной-единственной (и идееубийственной) идее — идее эпигонов Великого Инквизитора.

Все другие герои-идеологи романа тяготеют к типам поведения, воплощенным в Рубине, Сологдине и Нержине, в соответствии с теми поворотными решениями, которые они делают, когда их жизнь оказывается висящей на волоске. Каждый из трех имеет своего «двойника» внутри или вне шарашки. На

трагедию Рубина, «космополитического» поклонника шовиниста Сталина, эхом откликается судьба его «свободного» начальника Адама Ройтмана, майора МВД, лауреата Сталинской премии и «безродного космополита». Когда «бич гонителя израильтян» наконец занесен над ним, Ройтман начинает сомневаться в своей вере в коммунизм, задумывается впервые, что, может быть, надо было начинать исправлять мир не с других, а с самого себя. Двойник Сологодина отчетливо видится в беспартийном полковнике Яконове. Когда «два инженера» встречаются в поединке, из которого узник выходит победителем, Яконов восхищается выдержкой и смелостью «чёртова инженера» и в глазах его замечает свое собственное отражение:

«Была всё так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологодина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову» (73 : 639).

Сталинский произвол распорядился по-разному с двумя инженерами, но их духовная сущность и идейные устремления сродни друг другу. Как «Сологдин» намекает на «сольный» характер зэка-сверхчеловека, так и «Яконов» намекает на эгоцентричность, на этическое «яканье» его начальника. Наконец, Иннокентий Володин является ближайшим двойником Нержина вне шарашки. Оба чрезвычайно чутки к голосу совести, оба послушны скорее велениям сердца, чем ума, оба не способны на компромисс, оба выбирают путь самопожертвования. Как таковые они принадлежат к виду, обреченному, казалось бы, на вымирание, по крайней мере с материалистической точки зрения. Однако, с точки зрения духовной, они именно те зерна, что умирая возрождаются наиболее выносливыми жизнеспособными всходами. Нержин и Володин, вероятно, не переживут лагерей физически, зато духовно они уже достигли того освобождения души, без которого любое сопротивление сатанизму не может увенчаться успехом. Неслучайно оба достигают вершин

духовного прозрения на пути в недра ада. Помимо Иннокентия, путем Нержина идет Агния, а в шарашке — Бобынин, Хоробров, Герасимович.

Разумеется, не все персонажи романа изображены как герои-идеологи, или «герои идеи» (по выражению Достоевского). Некоторые из них изображены главным образом как типы общественные, характерные для той или иной социальной прослойки советского общества: крестьянин Спиридон Егоров; рабочий Земеля «Солнечная душа»; партсекретарь Степанов, солженицынский антитезис в пику соцреализму; прокурор Макарыгин, представитель «нового класса» партократии. Автор скомпоновал роман таким образом, чтобы охватить не только основных «идеологов», но и все общественно значимые слои общества. Употребляя его собственное выражение (в интервью с Личко), роман в самом деле построен «вертикально»; показав советское общество в поперечном сечении — от Сталина до Спиридона, — писатель мастерски справился с ответственностью «пусть даже за тридцать пять героев».

Соглашаясь с тем, что чрезвычайно многоликая, разнородная и тем не менее цельная галерея портретов является выдающимся достижением «В круге первом», некоторые критики пытались объяснить и связать это достижение с творческим методом Солженицына. Американский славист Деминг Браун считает, что творческая «стратегия» романиста была нацелена на создание «микрокосмоса» советского общества, в котором взаимодействуют персонажи «разных общественных, профессиональных, политических, культурных и этнических профилей»⁸. Другой американский критик, Ирл Ровит, определяет метод Солженицына как «преображение пространства во время», опять-таки позволяющее автору представить наиболее ёмкую галерею портретов⁹. Венгерский критик-марксист Георг Лукач приписал успех романа «новому методу эпической композиции», введенному Томасом Манном в

«Волшебной горе» и использованному в «Педагогической поэме» Макаренко. Был ли Солженицын знаком с этими романами или нет, рассуждает Лукач, он воспользовался подобным методом в «Одном дне Ивана Денисовича» и в «Раковом корпусе» и потом усовершенствовал его в романе «В круге первом». В последнем ему удалось собрать в одном месте, в шарашке, как в фокусе, наиболее общественно представительную группу людей и тем самым дать на одном полотне общую панораму сталинской России¹⁰. Наконец, Мирослав Дрозда, литературный критик из Чехословакии, единственной страны советского блока, где роман был опубликован, определяет его как роман «разрушенных биографий», где каждый герой изображен не ради его биографии, а ради его «этической монографии», объединенной с другими в «этическую монографию эпохи»¹¹.

Хотя каждое из вышеприведенных объяснений указывает на ту или иную важную сторону творчества Солженицына, они представляются мне далеко не полными, поскольку упускают тот факт, что герои-идеологи романа скомпонованы не в гомофоническое, а в полифоническое целое. Даже Мирослав Дрозда, правильно подчеркивая «аксиологический» характер романа (сравним с жанром «идеологических романов» Достоевского), упускает из виду, что «этические монографии» героев не сведены автором в одну-единственную «этическую монографию эпохи», а скорее предстают перед читателем как сосуществующие и спорящие в *плюралистическом* мире. То, что Бахтин сказал о романах Достоевского в сравнении с высокохудожественными и, тем не менее, гомофоническими романами Льва Толстого, как нельзя лучше подходит и к роману «В круге первом»:

«Не множество характеров и судеб в едином объективном мире и в свете единого авторского сознания разворачивается в его произведениях, но именно *множественность равноправных созна-*

ний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события»¹².

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Перепечатано из «Посева» от 23 июня 1967 года; сверено со словацкой версией в газете «Kultúrny Život» от 31 марта 1967.
- ² М. М. Бахтин. «Проблемы творчества Достоевского». Ленинград. Изд-во «Прибой», 1929. Позднее книга была «реабилитирована» и под названием «Проблемы поэтики Достоевского» вышла в расширенном издании в 1963 году.
- ³ С. J. McNaspy. A review in America, vol. 119, October 5, 1968.
- ⁴ Mary Ellmann. A review in Yale Review, No. 59, October 1969, pp. 119-121.
- ⁵ М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского», стр. 5.
- ⁶ Times Literary Supplement, an unsigned review «Infernal Machinery», November 21, 1968.
- ⁷ Helen Muchnic. Russian Writers. Notes and Essays (New York: Random House, 1971), p. 422, 426.
- ⁸ Deming Brown. «Cancer Ward and The First Circle», Slavic Review, vol. 28, No. 2 (June 1969), p. 311.
- ⁹ Earl Rovit. «In the Center Ring», American Scholar, vol. 39, (Winter, 1969), p. 170.
- ¹⁰ Georg Lukacs. Solschenizyn, Hermann Luchterhand Verlag, GmbH, Neuwid und Berlin (1970).
- ¹¹ Miroslav Drozda. «Románové umění Alexandra Solženicyna», Plamen (Prag, 1969), 11. iv, p. 80. Автор исходит из статьи Осипа Мандельштама «Конец романа» об упадке традиционного жанра биографического романа в эпоху массовых движений.
- ¹² М. М. Бахтин. Указ. соч., стр. 7.

ТРИ СПОРА

О поэзии Ивана Елагина

Единый процесс развития русской поэзии XX века оказался разделенным на два неравных потока, на «там» и «тут». Крайними точками этих двух рек, которые, надо надеяться, сольются, обогнув длинный, дышащий пустыней остров, оказываются два затона с мертвой водой у противоположных берегов: первый затон — казенно-газетные, засоленные солью соцреализма сочинения, наполняющие наши газеты и журналы, второй затон — с первого взгляда кажущийся всё же поэзией — поросшее ярко-зеленой ряской болото беспредметности, слова о чувствах, цветах, Небе, Земле, словом, слова-муляжи, от которых ничем не пахнет, ибо выросли они из того мусора, который вывели поэты серебряного века, приводя «башню слоновой кости» в блоковский порядок, т. е. пуская в нее жизнь.

В первом затоне сидят, понятно, стихотворцы «самой передовой в мире литературы», которых читают не больше, чем передовицы «Известий», во втором — меньшая количественно, но всё же немалая часть зарубежного потока русских стихотворцев: звучит над этой ряской монотонная и ничего не дающая ни душе, ни разуму «парижская нота».

Если же оставить в стороне оба эти заливчика мертвых вод, то огибающие остров потоки настоящей поэзии окажутся удивительно сходными, понятными друг другу. Само существование «советской» литературы для них реальный факт, оказавший и на тех и на других некое, пусть даже в порядке отталкивания

от него, влияние. Игнорировать его они не могут. Это значило бы для них повиснуть вне времени и пространства, а такая поэзия была бы настолько общим местом для читателя любых времен и стран, что перестала бы быть собой.

Поэтому оба потока так или иначе, но размывают берега разделяющего их острова и рано или поздно размоют его совсем. Лично я думаю, что скоро. Поэтому совсем неудивительно, что есть поэты, которые в некотором смысле симметричны друг другу. Даже принадлежа к разным поколениям, они до удивления напоминают друг друга и видением мира и формой выражения. Нервные ритмы взбесившегося века — как поэтическое выражение раскола в сознании — одинаково свойственны Андрею Вознесенскому и Ивану Елагину. Слова Вознесенского о том, что «talанты, обычно, ходят парами», в данном случае применимы и к нему самому.

Елагин и Вознесенский — поэты разных поколений. «Медный век», давший множество первоклассных поэтов, по естественному ходу событий втянул в себя всех наиболее талантливых людей предыдущего «военного» поколения, которое в массе своей оказалось просто бесплодным. Если перебрать имена чуть ли не двух сотен поэтов этого возраста, то окажется, что на самом деле всего-то есть: А. Галич, Б. Окуджава, Е. Винокуров, покойные Павел Коган и Семен Гудзенко — в России, да два поэта в русском зарубежье — Иван Елагин и Николай Моршен. И все они (за исключением тех двоих, не доживших до «медного века», начавшегося в конце пятидесятых) — по ритмам, стилю, лепке образов и в конечном счете по мировосприятию оказались поэтическими ровесниками нам, сорокалетним, выскочившим, как чёрт из табакерки, которую, сам того не желая, поднес России спьяну Никита Хрущев. Он такого, конечно, не предвидел, но Россия чихнула довольно громко, и поныне

чихает на все «священные основы» советского строя и проч., и проч. И вот этот иерихонский чих нередко звучит теми интонациями, которые находим мы в поэзии Елагина.

От стихов в столетье атомном
С ног диктаторы не валятся,
Но когда-то и на мамонтов
Выходили люди с палицей!*

Эти строки из стихотворения Елагина «У памятника Маяковскому» обращены к поэтам новейшего поколения, к тем, кто вообще не публикуется в СССР, к тем, кого знают поэты меньше, чем нашумевших поэтов «медного века», и даже меньше, пожалуй, чем тех, кто начал писать в двадцатых или тридцатых годах. Но именно эту литературную молодежь (относительную, конечно, ибо большинству из них около тридцати лет) Елагин называет динамитчиками:

В кабинетах и президиумах
Облысевшие держиморды
Видимо-вас-невидимо
Расселось балластом мертвым!

А солнце проглядывает,
Рассвет дымит!
Это под вас подкладывают
Мальчики — динамит! (Там же)

Вот эта надежда на новое поэтическое поколение — такое разное, такое индивидуальное по сути — и показывает, как прочно поэт Елагин держит руку на пульсе России. Действительно, все они — бескомпро-

* Иван Елагин. Дракон на крыше. Стихи. Изд-во Victor Kamkin Inc. USA. Обложка и рисунки работы С. Л. Голлербаха. Стр. 60. — Ред.

миссное отрицание так называемой советской действительности. Все, от обнаженно политических стихов Юрия Галанскова до просветленно-мистической лирики Елены Игнатовой. И через пустынный остров их приветствует поэзия Елагина не только прямым к ним обращением, но и живым стихом современного русского поэта, тем стихом, который, будь он опубликован в России, никому бы ничем не напомнил о факте физического отрыва поэта от родины. Этот тридцатилетний период можно вспомнить, если смотреть на *темы* некоторых стихов Елагина, но ведь в поэзии, как известно, тема — менее всего значит. Ритм, язык, лепка образа, само мышление поэта таковы, словно он пишет свои стихи не в далеком Питтсбурге, а в сегодняшнем Петербурге.

СПОР ПЕРВЫЙ — С САМИМ СОБОЙ

Наверное, появится заметка,
А может быть, и целая статья,
В которой обстоятельно и метко
Определят, чем занимался я.

.....

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать*.

Несмотря на это серьезное предупреждение, хочется всё же попробовать рассказать, как именно «видит небо» поэт Елагин. Насчет обстоятельности и

* Иван Елагин. Под Созвездием Топора. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976, стр. 191. Дальше в стихах, где указаны страницы, это означает, что цитируется по посевскому изданию. — Р е д.

меткости не ручаюсь, и цитат, несомненно, будет тут множество «привязано», но не к биографии: «Моя биография — в моих стихах», сказал Есенин, и потому цитаты, которых так не любит Елагин, будут, но... если говорить очень всерьез, то о поэте можно рассказать, доведя количество цитат до возможного максимума и убрав прочь весь свой текст. Но это уже будет не статья, а просто книга стихов самого поэта. Она и есть, конечно, лучшее, что может быть в таком случае, но поскольку существует такой жанр, как статьи о поэзии, то остается надеяться, что и в этом жанре можно хоть что-то добавить к тому, что поэт сказал о мире и о себе, верней, «о мире собой», самим фактом существования личности, сумевшей выразить свою единственность.

Отношение к миру, к людям, к себе редко бывает монолитным. А наше время не только поставило такое отношение под сомнение, но порой начисто отрицает его правомерность. Эта расколотость сознания поэтического, вслед за сознанием просто человеческим, характерна не для одного Елагина — она печать XX века на всей лучшей его поэзии. У Елагина же этот спор с самим собой доведен до крайности, до парадоксальности, вылившейся в самоиронию, за которой уже не остается ровно ничего. Его стих — на пределе возможного в самоотрицании:

Неудобство, что человеком,
 Человеком я оказался,
 Кривосабельным печенегом
 В мою полночь кошмар врубался!

Колоссальнейшее неудобство
 Человеком быть, а не мопсом!
 Ну, а я так в квадрате влопался, —
 Быть поэтом — сверхнеудобство! (Стр. 210)

Если само существование — нечто смертельное,

то существование поэта, который «по должности» всё воспринимает и выражает в тысячи раз острее, чем всякий иной человек, уже не находит себе выражения в словах. Поэт — это «полет с нераскрывшимся парашютом», это — шахматная пешка, которая может идти только вперед (не по особой отваге, а потому, что так уж он, поэт, устроен); как герой пьесы Ионеско «Носороги», он не может стать носорогом не потому, что не хочет, а просто не может органически!

Но с поля когда-нибудь снимут меня
 Каким-нибудь каверзным ходом коня,
 За то, что я, силы своей не жалею,
 Кидался по следу чужих королей,
 За то, что с позиций, разгромленных вдрызг,
 Я шел на предсмертный, восторженный риск!
 За то, что сыграть не умел я вничью... (Стр. 180)

Вот это неуменье «сыграть вничью», даже с самим собой, не говоря уж о «проклятых обстоятельствах», и сближает позицию Елагина с позицией новых наших поэтов так же, как невозможность увидеть целым и гармоническим мир, который раздроблен и разбит на враждующие между собой осколки. Известное выражение о трещине мира, которая прошла через сердце, теряет у Елагина всякую метафоричность потому, что метафора его становится реальностью, реальностью, которую не только что пощупать можно, но которая ужасает вещественными деталями.

Я просыпаюсь
 И рассыпаюсь.

Но не на части, не на куски, —
 От меня откалываются двойники.

Отделяются
 И удаляются.

Один из них ставит чай на плиту
И молоко наливает коту.

Еще сонный, еще ночной
Разговаривает с женой.
А щеки бреет который —
Зацапан уже конторой. (Стр. 147)

Третий двойник (или «тройник»?) — поэт, ну, тот самый, которого хоть в пресловутую башню из слоновой кости, который, что называется, по облакам ходит... Но стоило художнику нарисовать всех трех, как —

Выдала кисть кубиста,
Что такое убийство... (Стр. 148)

Убийствен мир машин, роботов, контор, бюрократов; мир, в котором каждому некогда, в котором каждый принадлежит не себе, в котором понаслышке знают, что такое природа и поэзия, а многие от этого знания и отмахиваются. И смотрят на чудака Диогена, идущего человека искать в этом мире, где человека не видно, как на какое-то чудище. Анахронизм. И мысль, что поэт сегодня вообще-то и есть такой анахронизм, можно было бы принять всерьез, да вот интонации Елагина внушают ощущение того, что ироническое отношение бьет не только по чудаку, но и с той же силой по враждебному ему миру:

Послушай-ка, Диоген, —
Выброси свой рентген!
Зряшным ты занят делом:
Человек не бывает целым.

Человека на сто черепков
Время ломает сразу,
А потом в течение веков
Собирают его, как вазу. (Стр. 132-133)

Так против чего воюет поэт? Против современного мира огулом? Как воевал Жан Жак Руссо? (А что из того вышло — спросите у этого самого мира нынешнего!) Или против «архаизма» чувств, природы, Духа — против всего, что человека и делает человеком? (Из этой крайности, как мы знаем, тот же вывод, тот же результат, что и из ретроградства Руссо: безудержные прогрессисты тоже в роботы угодили.) Итак, обе крайности ведут к одному и тому же. Залезь ли в пещеру, или управляй собой при помощи кнопок, — цельность, конечно, обретешь, а человека в себе потеряешь.

Вот потому-то и есть одно — бесконечный спор с самим собой. Спор без побед и поражений. Диалектическое единство, неустойчивое равновесие существования.

Если проследить по другим координатам — по видению образа, придем к тому же: метафора, условность, нечто неосязаемое у Елагина обладает свойством материального тела. Вот из того же стихотворения пример, как метафора реализуется:

Шел я Английским парком,
Осенью шел я мюнхенской —
И сероглазой баварке
Прямо в зрачки я плюхнулся.

Когда-нибудь вам придется,
Искатели черепков,
Вытаскивать, как из колодца,
Меня из ее зрачков. (Стр. 133)

И странное дело: чем больше таких «реализаций», тем фантастичнее выглядит мир, изображенный поэтом. Да и кто, кроме поэта, может «сидеть и прикоывать петуха к заре»?

И гармония возникает не там, где ее ищут, а в самом *отрицании ее существования*. Это как у Льюиса

Керрола: чем быстрее идешь на холм, тем дальше ты от вершины его. Релятивизм, доведенный до крайности, когда результат прямо противоположен желаемой цели. Отсюда и взялись такие строки:

В тяжелых звездах ночь идет,
И город в новый снег наряжен.
И вот уже минувший год
Как нож по рукоятку всажен!
.....

Уже к ножу питая нежность,
Уже собой не дорожа,
Я пью за остроту и свежесть,
За дружбу розы и ножа*.

Раздробленность мира и личности — трагедия. Раздробленность мира и личности — счастье. Жизнь — и то и другое. А настроений и отношений к ней бывает столько же, сколько осколков от разбитой вазы. Когда вдребезги.

И наконец по третьим координатам — по самым уж внешним: как поэту быть? «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв», как писал Пушкин, или «Слушайте, товарищи потомки...» и так далее, в общем, по-маяковски, изгнать «поэзию — бабу капризную»... из поэзии?

В том-то и дело, что тут опять же обе крайности приведут к гибели художника. Неслучайно завел я речь в самом начале этой статьи о двух крайностях, о двух идеально чистых крайностях — о газетном трезвоне одних и о бумажных цветочках других. И то и другое может быть позицией, но никогда — поэзией. Потому, что поэзия, как человек, как личность, как жизнь многогранна и борется сама с собой. И не дай Бог одному из начал победить хоть на минуту. Мы

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 28.

уже знаем, что бывает в таких случаях. Вот потому-то спор Елагина с самим собой и есть поэзия. Потому-то в русской поэзии двойники всякие и бродят из века в век, что она — поэзия, а не дистиллированное нечто, каким хотели бы видеть ее неумные максималисты с любого края.

Вы говорите, якобы
Поэты одинаковы?

Попробуйте всмотреться —
По-разному отмечены:
Тот пишет кровью сердца,
А этот — желчью печени,

Кто пишет потом, кто слезой,
Кто половою железой... (Стр. 150)

Но, видимо, это — значительное упрощение: само Елагин пишет всеми поименованными инструментами и, кроме того, — что главное — духом. Потому-то он и спорит с самим собой, что все перечисленные в этих шуточных строках поэты — лишь осколки, из которых личность поэта и собирается в какой-то момент, названный таким неточным и затертым словом «вдохновение». А если вдуматься в корень, слово-то это от Духа ведет начало. Ниже я цитирую отрывки из двух весьма различных стихотворений. И если бы спросили, в каком из двух стихотворений «настоящий» Елагин, то я бы ответил: ни в одном. А *в самом факте*, что оба стихотворения написаны им же, разными его ипостасями, дерущимися в одной душе. Вот отрывки из двух таких стихотворений:

Я здесь.
Я со всеми.
С моею судьбою земною.
Снаряд баллистический — время
Свистит надо мною!
.....

Меня не отделишь
 От времени.
 С ним не рассоришь!
 Я сын его гульбищ и зрелищ,
 Побоищ и сборищ!

Лечу вышиною
 Стремительно, гибельно, круто —
 И стих для меня — вытяжное
 Кольцо парашюта. (Стр. 152-153)

Кругом какие-то темные шашни —
 Страшно!
 Заревом красным окно закрашено —
 Страшно!

И чего я мытарюсь?
 Пойду к нотариусу,
 Постучу в дверь его.
 Войду и скажу:

— Я хочу быть деревом!

Я хочу, чтобы было заверено,
 Что такой-то, такой-то — дерево,
 И отказался от человеческих прав.
 В зелень себя разубрав,
 Он теперь стоит...*

И тот Елагин, который в парке, вне мира (по возможности) разговаривает с терьером о смысле жизни, и тот, который не мыслит себя без современного цивилизованного мира, и тот, который над этим миром издевается, — это всё один и тот же поэт. И чем таких граней больше, тем поэт значительнее. Он — тянется в день вчерашний, идет — в завтрашний, мчится со свистом в потолок века и прячется от него на дно, как подводная лодка. (Для сравнения: «Лечь

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 5-6.

бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать!» — В. Высоцкий.)

Но вот стихи о Нью-Йорке — городе, который стал для нас вроде бы символом взбунтовавшейся цивилизации, машины, подавившей человека:

Каскадом, звездопадом, светопадом
 Автомобили мчат по автострадам.
 И проносясь в автомобильном гуде,
 Мы за рулем кентавры, а не люди.

 В такую высь нас поднимают лифты,
 Откуда слышны ангелов молитвы...

 Мы по ночам все выброшены вверх,
 В какой-то многоцветный фейерверк
 Арен, эстрад, экранов, галерей,
 В мой город всех ветров и всех огней,
 В мой город всех огней и всех ветров,
 Где погибаем мы от катастроф... (Стр. 135)

Нет сомнения, что, несмотря на концовку, в стихах этих куда больше упоения, чем трагизма. И всё же... Но это уже другой спор, в стихах Елагина

СПОР ВТОРОЙ — ВЕК ПРОТИВ СЕБЯ САМОГО

Когда дом ломают, потому что он старый, хорошо это или плохо? На такой дурацкий вопрос странно требовать ответа. Да, будут новые дома, поудобнее, да, на слом... но:

Только сердце непременно
 Хочет всё на старый лад —
 Там, где выломлены стены,
 Люди в воздухе висят.

И становится мне страшно
 Этой выси голубой,

Где качаюсь я вчерашний
Над сегодняшним собой. (Стр. 170-171)

Такой протест души против обезлички, свойственной индустриальному и сверхиндустриальному времени — неотъемлемая часть этого времени. Без нее мы бы стали давно уже роботами. И вот — не только как реакция на грохочущий механический и электронный мир, но как реакция его очеловечивающая — звучат такие стихи:

Праздность моя, звездность моя,
Жизнь без расчета, жизнь без запрета —
В небе ты канула словно комета
Там за углом, за углом света,
Там за углом, за углом дня.

Только зубы покрепче стисни —
Выстроим дом, выстроим дом
Там за углом, за углом жизни,
Там за углом, там за углом. (Стр. 206)

Обезличивающая власть века с его суетой заставляет человека потерять свое имя, забыть адрес, и когда по просьбе этого заблудившегося в каменных джунглях человека некто (блюстититель порядка, как назван он в стихотворении) снимает переднюю стену огромного дома — там всё оказывается одинаковым, стандартным, вплоть до халата на женщине...

На что мне в безликом дыме
Безликое бытие?
Отдайте мне имя, имя,
Отдайте мне имя мое*.

Человек заказывает себе двойника, пусть уж он,

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 83.

двойник, в этом машинном мире живет, выполняя все обязанности жителя машинного муравейника, а человек «заживет как паша»... Всё бы так, но что тогда останется для него от самого понятия жизни? Может быть, в четвертое измерение улизнуть? А там что? Ведь нет ее — той, последней двери. И лжет тот, кто какую-либо дверь сочтет последней. Иные боятся открывать ее, мол, за ней — ничего. Но где у них гарантия, что эта-то дверь и есть последняя? Такая мысль годилась бы для позитивистского мира, где всё ясно, всё «в норме», ничего нет неожиданного. Но, как известно, в том и суть нашего времени, что от позитивизма и материалистически-наивного мировосприятия оно не оставило и пепла. Относительность — ведь это доступная нашему разуму, «адаптированная» для нас модель бесконечности, модель Вечности.

А что делать тому простому человеку, которому и эти крохи недоступны? «Норов у века крутой», как сказал Галич. И вот остается этому «Башмачкину на американский лад» погоня за геростратовой славой — хоть так свою индивидуальность проявить. Преступление — любое — лишь бы реклама:

От моей лохматой хари
Телевизоры в угаре!

С грандиознейших афиш
Я показываю шиш!

.....

Как меня освободят —
Будет в честь мою парад!

Я на радостях подкину
В ясли адскую машину.

Бомбу брошу в детский сад!*

Вот каким стал в наши дни тишайший Акакий

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 45-46.

Акакиевич! Вот что надо, чтобы не затеряться в каменных джунглях! «Нового стиля грехопадение, в автомобиле на заднем сидении» — вот какой вид приняли неистовые валькирии древних легенд, словом, весь мир спятил. И самое время кинуться в прошлое: оно ведь всегда так заманчиво! там, где туристы облепили Ниагарский водопад, когда-то «ирокез по твоим порогам лез», когда-то... Но романтическая тоска — тоже четвертое измерение. Куда же? Вопрос века?

Я эмигрировал на озеро,
В столпотворение берез*.

Но это уже бывало, это тоже не выход:

Словно знает береза: настала пора
Для берез и поэтов — пора топора. (Стр. 164)

В чем же выход и, вместе с тем, смысл существования? И вот тут мне хочется напомнить о том, что академик Вернадский назвал «ноосферой», сферой разума. Ноосфера — первоначально необходимое условие для одухотворения мира, создание ноосферы вокруг мертвых миров — обязанность человечества. В этом смысле человечество, состоящее из бесконечных множеств индивидуальностей, есть сложнейший *инструмент* для Сотворения мира. Для сотворения Космоса в противовес Хаосу. Для борьбы с косностью мертвой материи. Для создания той ноосферы, которая станет обиталищем Духа, расширив Его Царство. И, видимо, весь этот современный мир наш — лишь необходимый этап пути, этап, без которого человек не выполнил бы своей главной Задачи.

Ведь только в таком мире, при всех его ужасах, возможно начало космических полетов. И сердца аст-

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 143.

ронавтов, стучащие на Луне, — первая ласточка, начало этих всечеловеческих свершений, предначертанных свыше:

Ты, земля, пролетаешь во мраке.
Звезд блестит над тобою пыльца.
На тебе точно красные маки
Расцветают сердца.

Ты сердца, как букеты,
На другие бросаешь планеты. (Стр. 155)

В том-то и дело, что человек — не робот Господень, свобода воли потому и дана ему, что лишь такой инструмент, как человечество, — не муравейник, а ансамбль неповторимых личностей — пригоден для *продолжающегося* Сотворения мира. А непосредственное выражение этой Свободы — творчество. Но, к сожалению, не только оно. Издержки, выразившиеся во всех уродствах современного мира, ведь тоже результат свободной воли, просто чувство ответственности за свои деяния отстало от роста чисто созидательных возможностей людей, отсюда и возникают те чудища Франкенштейна, от которых недалёковидные люди или слабые кидаются в однозначную и плоскую антиутопию в духе сельской идиллии. Вот и происходит то, о чем так точно пишет Елагин:

Сколотил ты свой угольный рай
До последнего гвоздика.
А теперь — то и знай — повторяй:
— Загрязнение воздуха!*

А вот о загрязнении совести, загрязнении памяти, загрязнении разума люди забывают. А ведь свобода

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 147.

воли предполагает и ответственность! «Кому много дано, с того много и спросится»:

Загрязнил ты всё то, что тебе
Было Богом даровано —
И кричишь, что к фабричной трубе
Приближаться рискованно.

И кричишь, что над городом чад
Как пятно надо вывести —
И молчишь там, где жизни влачат
В испарениях лживости!

.....

Пострашнее, чем дыма слои
И фабричного замызга —
Загрязнение вымысла и
Загрязнение замысла*.

Замысла Божьего о человеке, прежде всего, как об инструменте Творения, наделенного для этого свободой воли. С этим, одним из важнейших стихотворений, перекликается стихотворение «Дракон на крыше», давшее название одной из книг Елагина. Как в гофмановской фантазии, дракон появляется совершенно реальным путем («Там двенадцать вертолетов, а тринадцатый — дракон»). Этот символ вышедшего из повиновения робота, это чудовище, именно из-за того, что чувствует свою мощь, а потому и безнаказанность, провозглашает как принцип вседозволенность:

Я вчера девчонку сгреб,
С нею шасть на небоскреб! (Стр. 195)

Это — прагматический дух современности (тоже

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 148

порождение, верней, выродок всё той же свободы воли, не уравновешенной ответственностью).

Дым столбом стоит от оргий
У меня, у меня!
А что есть святой Георгий —
Болтовня! Болтовня! (Там же)

Активность зла, беспомощность добра — тема многих трагедий, начиная с Эсхила. Гамлету претят способы и методы борьбы, которые могли бы быть эффективными, если бы пренебречь таким пустяком, как нравственные запреты... Но ведь они и есть та самая ответственность, без которой свобода воли превратится в свободу зла. Этим и пользуется дракон:

У святого — ни копыя!
Не купить ему копыя...

— задорно кричит он со своей крыши.

Вот сейчас взмахну крылами —
Отходи поскорей!
На три метра свишет пламя
Из ноздрей, из ноздрей! (Там же)

Так стихи эти наводят на мысль, что зло безнаказанно именно потому, что мы очень беспокоимся о загрязнении воздуха и мало еще думаем о «загрязнении замысла». Так век спорит с самим собой. И Гамлет в том же положении, как четыреста лет тому назад...

Этого дракона действительно некому сразить... И трудно ожидать, что зло само трансформируется. Лишь *синтез добра и силы* — Гамлет, взявший меч Фортинбраса, но не утративший в себе ни капли человеческого и божеского, может решить эту проблему.

Неслучайно тема спора Творца и Робота, Духа и сотворенной Им современной жизни — основная в

творчестве Елагина. Основная она и в творчестве Вознесенского. Она — приложима и к американской, и к российской, и вообще к любой современной действительности.

СПОР ТРЕТИЙ — С ДРАКОНОМ НА КРЫШЕ

Тридцать лет держать руку на пульсе России, писать так, словно живешь там, само по себе достаточно удивительное явление. Еще в первой книге «По дороге оттуда» поэт писал:

Брошенное на штык,
 Дважды от крови ржавый,
 Загнанное в тупик
 Дьяволовой облавой —

Ты, мое столетие! (Стр. 42)

Это — тогда, когда не знал он еще никаких иных краев, кроме России. Но, как мы видели, мироощущение не подвело. Потому-то все стихи, о которых уже тут говорилось, относятся в равной степени к Америке, к России да и к любой стране. Это — проблемы общечеловеческие. Но когда поэт берет современную советскую жизнь в ее «крупном плане», то горькая ирония уступает место сатире, для которой есть у него все возможности: материализация метафор, о которой уже я говорил, выступает тут как мощный сатирический прием.

А теперь мы время сплющим,
 В день сегодняшней войдя:
 Поколением грядущим
 Вдруг оказываюсь я,

— говорит поэт, напомнив все злодеяния, которые

совершались «во имя светлых далей», и продолжает:

И выходит, как ни странно, —
 Всё стряслось из-за меня:
 Трупов целые монбланы
 И великая резня*.

И как бы поворачивая в сегодняшний день традицию сатирических гимнов раннего Маяковского, пишет он «Гимн цензору»:

Режь меня
 Грешного!
 Не печалься —
 Ты же начальство!

Ты — единственный
 Из земных детей,
 Знающий истину
 Во всей ее полноте. (Стр. 160)

В общем, советская общественная гармония именно такова, как видел ее Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература»:

Я буду бряцать лирой,
 А ты — меня контролируй!

Ты укажи поэту,
 Что подлежит запрету,
 И сообщи заодно,
 Что славить разрешено. (Стр. 162)

А в одном из самых страшных своих стихотворений «Амнистия», перечисляя всех нынешних пенсионеров, имевших отношение к расстрелу его отца в

* Сборник «Дракон на крыше», стр. 29.

Киеве в 1938 году, Елагин, как бы мимоходом, говорит по поводу амнистии:

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня. (Стр. 190)

Стихи об авторском праве, в отличие от «Амнистии», вообще написаны как бы «изнутри». Какие права за автором сохранены? Все! И вот мысль поэта разматывает клубок этой скупой фразы:

Автор с общественным весом,
Что за права ты отстаивал?
Право на пулю Дантеса
Или веревку Цветаевой?

Право на общую яму
Было дано Мандельштаму. (Стр. 186)

Вот они и все права, которых удостоиться может русский поэт, да еще звания «врага народа»... И когда Данте, которого поэт именуется тем самым названием — «невозвращенец», которое уже содержит в себе приговор, «через шесть столетий с лишком» «добился пересмотра дела», то и в его судьбе — все та же судьба русских поэтов. Но Елагин смотрит на эту тему, как сам говорит, «бодро»:

Доживем и мы до пересмотра
Через лет шестьсот или семьсот. (Стр. 142)

Всё это — сатира. Но сатира без смеха. Самый страшный вид ее, тот, который Гоголя замучил, тот, который вызвал в наши дни жуткие деформации фигур на картинах Михаила Шемякина — художника, недавно выехавшего из СССР. Мне кажется, что его ри-

сунки и акварели очень созвучны поэтической манере Елагина.

Но за то, что держишь руку на пульсе России, приходится платить немалую цену. Отчуждение от того мира, где поэт живет уже три десятилетия, несмотря на то, что, как мы видели, он любит и понимает Америку, несмотря на то, что сугубо американские формы выражения общечеловеческих бед в его стихах занимают немалое место, и всё же: «Я человек в переводе, и перевод плохой» — говорит поэт. А оригинал где же? Говорят, видели его десятилетия назад «в Киеве на вокзале»:

Я живу на расстоянии
От страны моей студеной.
Я живу — на заикание
С языка переведенный. (Стр. 172)

И точной формулировкой, от которой одинаково достается и современной Америке и Советскому Союзу, поэт называет главное зло и той и другой страны:

Без особого урона
Мой испуг переведен
С лозунгового жаргона
На рекламный жаргон.

Точно бред политбесед,
Распродаж ажиотажа! (Стр. 173)

И вот время тоже двоятся. С того момента, как поэт расстался с Россией, прошло:

В оригинале — двадцать с лишним,
А в переводе — полстолетья! (Стр. 174)

Вот, пожалуй, единственный случай, когда перевод оказался точнее оригинала. И вот, как часть спора

за Россию, в поэзии Елагина сталкиваются мотивы русского и американского мироощущения. И чем более они сходны между собой, тем катастрофичнее их столкновение. Так, начав со спора поэта с самим собой, пройдя через спор века с самим собой, звучащий в напряженности елагинских ритмов, мы снова вернулись к спору поэта с собой же: ибо спор его с «драконом» — это тоже «в душе гражданская война». Ибо зло не вовне, а внутри нас. Иначе его уничтожить было бы куда легче.

В том-то и состоит единственность поэтической личности Елагина, что он все эти три спора в себе каждый раз пытается решить стихом, меняя образы и ритмы, но оставаясь верным главной мысли своей — мысли о неразрешимости этих противоречий. В том и состоит, в частности, его личный вклад в русскую поэзию. А потому —

Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра может стать,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства*.

Париж 1975

* Иван Елагин. Косой полёт. Стихи. Издание «Нового Журнала». Нью-Йорк, 1967. Стр. 50.

Свобода человека и общество грядущего

ОТ РЕДАКЦИИ

Современная высокоразвитая техническая цивилизация, взамен предоставляемых ею благ, требует от человека жертв. Она накладывает на него тяжелые обязательства и суживает рамки его свободы бесчисленными ограничениями.

Возьмем как пример нынешние правила автодорожного движения. Их нарушения — причина подавляющего количества транспортных катастроф, стоивших человечеству немалою числа жертв. Или укажем на пример тяжелых последствий забастовок персонала электростанций, обслуживающих госпитали; в этом случае перебои в снабжении электроэнергией невозможны. Оба примера показывают, что введение ограничений оправдано не только техническими соображениями, но и требованиями гуманности. Так техника, за счёт создаваемых ею преимуществ и удобств, усиливает взаимозависимость людей, оправдывает жёсткую регламентацию и делает опасным всякое нарушение дисциплины.

Аналогичную роль в усилении регламентации и дисциплины играет и экономика. Тесно связанная с техникой и развивающаяся на ее базе, она стала крайне сложной и громоздкой, далеко перешагнула за национальные рамки и тем самым сделалась угрозой для национального суверенитета — этой гарантии относительной самостоятельности и независимости стран и народов. Взаимная связь и взаимная зависимость людей в экономической сфере приняла планетарный, глобальный характер, усложненный бурным ростом народонаселения планеты и экономическими противоречиями между тремя блоками стран: развитых, развивающихся и социалистических.

Наконец стала очевидной ограниченность природных ресурсов, что тоже оправдывает необходимость усилить регламентацию и дисциплину и в этой области.

Взрывной характер этих процессов — развитие техники и возрастающая зависимость от нее, усложнение экономических процессов и укрупнение экономических комплексов, стремительный рост населения Земли и быстрое истощение природных ресурсов — всё это *неминуемо* ведет к *умножению правил и норм, стесняющих и подавляющих свободу человека*. А это, в свою очередь, с особой остротой ставит вопрос о *допустимых границах этого стеснения и подавления*.

Какова же судьба человеческой личности в обществе грядущего?

Не погребет ли ее под собой лавина предъявляемых ей требований и обязательств?

Не грозит ли человечеству жёсткая или тотальная регламентация, которая, вместе со свободой, убьет и возможность дальнейшего прогресса?

Может ли человеческое общество обойтись без свободы каждой отдельной составляющей его личности?

И способна ли подлинно полезная для общества личность обойтись без этой свободы?

Требуется ли сегодня пересмотра самое понятие свободы?

И не приведет ли подобный пересмотр к тому, что в результате его на человеческую психику будет оказано воздействие, убивающее в человеке стремление к свободе, но сохраняющее его творческие способности? И может ли такое воздействие быть оправданным?

А не следует ли искать обеспечения свободы *вопреки*, казалось бы, неумолимым требованиям прогресса?

Нужно ли (и возможно ли) человеку изменить свою психику таким образом, чтобы — без ущерба для себя и будущих поколений — пользоваться и впредь всеми благами прогресса, идущего в обрисованном выше направлении?

Или человеку нужно приспособлять прогресс к законам своей природы, унаследованной им от предков?

Таков цикл вопросов, на которые можно было бы искать ответы в разных областях многогранной жизни человека и общества.

Вопросы эти не новы. И немало мыслителей высказывали по ним свои суждения. Но эти высказывания разрабо-

саны по их произведениям, опубликованным в разное время и на разных языках. Это затрудняет их панорамный обзор, в котором, однако, весьма нуждается современный русский человек, лишенный в течение долгого времени возможности обстоятельно знакомиться с тем, что на эту тему было высказано на Западе. Но и на Западе мало знакомы с тем, что сказали (или могли, готовы были бы сказать) по этому поводу русские люди, живущие в СССР, недавно его покинувшие или находящиеся за границей, но не потерявшие со своей родиной духовной связи.

Поэтому наш журнал, издающийся уже тридцать лет на русском языке на Западе, предоставляет свои страницы для всестороннего обсуждения этой актуальной темы.

Авторитарная и демократическая техника

Я хотел бы определить (приблизительно, конечно) центральный принцип демократии — термина, затуманенного и усложненного небрежным его употреблением, зачастую с оттенком снисходительности и презрения. Независимо от степени возможных расхождений по этому вопросу, нельзя ли было бы признать, что основной принцип демократии заключается в том, что она общее для всех людей ставит выше всяких претензий со стороны каких бы то ни было организаций, институтов или групп. Этим отнюдь не оспариваются притязания, например, со стороны крупного ли природного таланта, специализированного знания, технического умения или организаций-институтов. Всё это, с благословения демократии, может играть положительную роль в человеческой экономике. Но демократия отличается тем, что она последнее слово оставляет за целым, а не за частью, и только каждый человек, действуя самостоятельно или с помощью других, являет собой подлинное выражение целого.

Вокруг этого центрального принципа группируются и другие идеи и обычаи, имеющие долгую предысторию, хотя они и не всегда преобладали в жизни тех или иных обществ, но в той или иной мере все же

Lewis Mumford (p. 1895). Историк культуры, архитектуры и градостроительства, социолог. Член Американской академии искусств и наук. Почетный член Британского королевского института архитекторов. Автор многочисленных работ, переведенных на многие языки: «The Story of Utopias», 1922; «Hermann Melville», 1929 (вышла в русском переводе под названием «От бревенчатого дома до небоскреба», Москва, 1936); «Technics and Civilization», 1934; «The Transformations of Man», 1956; «The urban Prospect», 1968. — Ред.

играли известную роль. Среди них отметим: коммунальное самоуправление, свободное общение между людьми как между равными, беспрепятственный доступ к общему запасу знаний, защита против внешнего необоснованного контроля и чувство личной моральной ответственности за поведение, затрагивающее интересы всего коллектива.

Все живые существа в той или иной мере автономны в том, что каждое из них действует сообразно собственным моделям жизненного поведения, но для человека эта автономия является основным условием его дальнейшего развития. Человек вынужден жертвовать частью своей автономии, если он болен или физически неполноценен, но жертвовать ею ежедневно и в любых обстоятельствах — это значит превратить жизнь в хроническое заболевание.

Наилучшая форма жизни — здесь я сознательно вступаю в спорную область — это та, которая способствует стремлению к углублению и расширению самоуправления, самовыражения и самовоплощения. В этом смысле возможность быть личностью, — что когда-то было исключительной прерогативой королей, — согласно демократической доктрине, должна стать достоянием каждого человека; жизнь в ее полноте и цельности не может быть никому перепоручена.

Очертив рамки этого предварительного определения, я надеюсь, что не упустил при этом ничего существенного. Демократия в том основном смысле, в котором я буду употреблять этот термин, естественно, легче всего наблюдается в среде относительно малых коллективов и групп, члены которых часто, свободно и непосредственно между собою общаются и знают друг друга в качестве личностей. Когда же дело касается многочисленных групп, демократические ассоциации становятся более абстрактными, принимают безличные формы.

Исторический опыт показывает, что демократию

легче вовсе уничтожить путем институционального устройства, наделяющего авторитетом только тех, кто стоит на вершине социальной иерархии, чем пытаться ввести демократическую практику в хорошо организованную систему с центральным управлением. Ибо эта система достигает наивысшей степени механической эффективности только тогда, когда те, кто обеспечивают ее функционирование, сами лишаются смысла и цели своего существования.

Противоречия между ассоциациями малых размеров и крупными организациями, между автономной личностью и институциональным регулированием, между контролем на расстоянии и распыленным взаимодействием создали сейчас ту ситуацию, которую стоило бы обсудить. Если бы мы смотрели на вещи объективно, то давно бы уже заметили, что нынешний конфликт глубоко укоренен в самой технике.

Теперь мне хотелось бы охарактеризовать технику так же, как я попытался определить демократию. Но должен признаться, что уже само наименование моей темы — дискуссионно, и я не смог бы продолжить свой анализ без учета той интерпретации темы, которая не была еще мною должным образом разъяснена. Говоря прямо, мой тезис сводится к тому, что со времен неолита на Ближнем Востоке и вплоть до наших дней две техники существовали попеременно бок-о-бок: одна — авторитарная, другая — демократическая. Первая, тяготеющая к централизованной системе, была необычайно мощной, но внутренне неустойчивой; другая, нацеленная на человека, — относительно слабой, но изобретательной и долговечной. Если мой тезис верен, то мы (человечество) быстрыми темпами приближаемся к тому пункту, когда (если не изменим направления нашего движения) то, что еще осталось от демократической техники, будет уничтожено или заменено, и таким образом исчезнет даже крайне ущербная автономия, либо она будет

дозволена лишь в качестве забавной игрушки для правительств, чем являются по сути всенародные выборы заранее намеченных лидеров в тоталитарных странах.

Факты, обосновывающие этот тезис, известны многим, но их значение, как мне кажется, остается нерасшифрованным. Для меня демократическая техника характеризуется методом производства в малых масштабах, использующим главным образом человеческую сноровку и силу скота, но всегда, даже если в таком производстве применяются машины, они остаются непосредственно в руках ремесленников и земледельцев. Причем и те и другие используют свои профессиональные способности на базе соответственного ремесленного искусства, в сопровождении социальных обрядов и при бережном использовании даров природы. Эта техника ограничивала возможные достижения, но благодаря своему широкому распространению и скромным требованиям, она отличалась большой способностью к адаптации и регенерации, создавала фундамент для любой исторической культуры и служила ей твердой опорой вплоть до наших дней. При этом она сдерживала авторитарную технику в ее тенденции злоупотреблять своей мощью. Даже если при этом приходилось платить дань свирепым авторитарным режимам, то в мастерских ремесленников и на полях земледельцев всё же оставалась в какой-то мере автономия, возможность выбора и творчества. Никакой королевский жезл, никакой кнут погонщика рабов, никакая бюрократия не оставили своих следов на тканях Дамаска или на керамике Афин пятого столетия.

В то время как демократическая техника берет свое начало в самые ранние времена применения орудий производства, авторитарная техника — достижение более недавнего времени: она зарождается приблизительно в четвертом тысячелетии до Р. Х. в новой комбинации технического изобретения, научного на-

блюдения и централизованного политического контроля. Эта комбинация породила специфический образ жизни, который мы, избегая хвalebных слов, называем ныне просто цивилизацией. С введением нового института — королевской власти — деятельность, которая раньше была распылена, разнообразна и создана по человеческой мерке, отныне объединилась в огромных масштабах теологически-технической массовой организации нового типа. В лице абсолютного владыки, чье слово стало законом, космические силы спустились на Землю, мобилизуя и объединяя усилия тысяч людей, до тех пор достаточно автономных и слишком децентрализованных, чтобы действовать сознательно в унисон для целей, которые лежали далеко за горизонтом их деревни.

Новая авторитарная технология не стала больше считаться ни с деревенскими обычаями, ни с чувствами человека: в своих геркулесовых деяниях механическая организация зиждилась на беспощадном физическом насилии, принудительном труде, рабстве, что и привело к созданию машин в тысячи лошадиных сил за столетия до того, как произошло обуздание лошади и изобретение колеса! Эта централизованная техника привела к изобретениям и научным открытиям высшего порядка: письменной записи, математике и астрономии, ирригации и канализации, а сверх всего этого она создала агрегат человеческих машин, состоящий из специализированных, взаимозаменяемых, взаимозависимых частей — армии рабочих, военных, бюрократов. Эти рабочие и военные армии подняли потолок человеческих достижений: во-первых, в массовом созидании, а во-вторых, в массовом уничтожении, — и то и другое в невиданных дотоле масштабах. Несмотря на свое постоянное стремление к уничтожению как к таковому, эта тоталитарная техника терпелась и даже, может быть, приветствовалась (на своей территории), так как она создала первую экономику

контролируемого изобилия, а именно, несравнимо бóльшие, огромные сборы урожаев, которые не только смогли поддерживать жизнь больших городских агломераций, но и высвобождали значительное количество квалифицированного меньшинства для религиозной, научной, бюрократической и военной деятельности. Но эффективность этой системы подтачивалась ее слабостями, которые она никогда, вплоть до наших дней, преодолеть не смогла.

Начнем с того, что демократическая экономика сельских местностей оказывала сопротивление включению ее в новую авторитарную систему; и настолько энергично, что даже в Римской империи приходилось прибегать к уловкам и идти на такие большие уступки, как, например, предоставление локальной автономии в сфере религии и самоуправления, но лишь только до тех пор, пока сопротивление не подавлялось и налоги не были собраны.

Кроме того, до тех пор, пока сельское хозяйство поглощало до 90% рабочей силы, массивная техника применялась главным образом среди населения городских центров. Ввиду того, что авторитарная техника возникла в эпоху, когда металлы были редкими, а человеческое сырье (т. е. люди, захваченные в плен) легко обращалось в машины, диктаторы никогда не обременяли себя поисками неорганических механических заменителей. Но следует отметить одну еще более существенную слабость этой системы: она не отличалась внутренней слаженностью; как только нарушались пути сообщения и возникал изъём в цепи следования распоряжений, огромный человеческий механизм распадался на составные части. И наконец — последняя слабость: миф, на котором строилась вся система, особенно основной миф королевской власти, был мифом иррациональным, со всеми проистекающими из него последствиями — параноидными подозрениями и распрями и параноидной же претензией

на беспрекословное подчинение и абсолютную власть. Несмотря на все ее потрясающие достижения, авторитарная техника обнаруживала свою глубокую враждебность по отношению к жизни.

Теперь, вероятно, понятно, в чем заключался смысл моего краткого исторического экскурса. Авторитарная техника ныне возродилась в чудовищно увеличенной и умело усовершенствованной форме. Вплоть до недавнего времени, следуя оптимистическим воззрениям таких мыслителей XIX века, как Огюст Конт и Герберт Спенсер, мы рассматривали развитие экспериментальной науки и механических изобретений как верную гарантию мирного, продуктивного и, прежде всего, демократического индустриального общества. Многие даже самоуспокоительно предполагали, что восстание против политического произвола в XVII веке было лишь случайно связано с сопровождавшей его промышленной революцией. Но то, что мы приняли за новую свободу, обернулось теперь лишь гораздо более искусным вариантом древнего рабства. Расцвет политической демократии в течение последних двух-трех столетий всё больше сводился на нет успешным возрождением централизованной авторитарной техники, которая к тому времени давно уже исчезла во многих частях света.

Не будем себя больше обманывать. В тот же самый момент, когда народы Запада свергли старый режим абсолютных правителей, функционировавший под эгидой обожествлявшихся королей, они возродили ту же систему и в гораздо более совершенном виде в сфере техники; в организации фабрик принуждение военного образца было восстановлено в менее строгих формах, чем раньше; появилась новая вымуштрованная, одетая в униформу и запертая в казармы армия. В течение двух последних переходных столетий конечная целенаправленность этой системы могла бы подвергаться сомнениям, так как во многих сферах она

наталкивалась на демократическую реакцию; но, связав себя с научной идеологией, в свою очередь освобожденной от теологических ограничений и гуманных намерений, авторитарная техника получила в руки инструмент, который дал ей возможность неограниченного распоряжения физической энергией космических масштабов. Изобретатели ядерных бомб, космических ракет и компьютеров стали строителями пирамид нашей эпохи; воодушевленные тем же мифом безраздельной власти, они утвердились на пьедестале науки и бахвалятся своим растущим всемогуществом (если и не всезнанием!); оказавшись жертвой тех же навязчивых идей и давящих на них сил, столь же иррациональных, как и в ранних абсолютистских системах, они особенно упорно придерживаются мнения, что система должна расширяться, не считаясь с тем, в какую цену это обходится жизни.

При помощи механизации, автоматизации кибернетического управления эта авторитарная техника наконец преодолела свою наиболее серьезную слабость — первоначальную зависимость от сопротивляющихся, а порой и просто непослушных сервомеханизмов, еще настолько человеческих, чтобы обладать способностью ставить себе цели, не всегда совпадающие с целями системы.

Как и в ранние периоды и в первоначальных своих формах, новая авторитарная техника так же необычайно динамична и продуктивна; ее мощь в любых областях направлена на беспредельное увеличение в размерах, которые немислимо усвоить и невозможно проконтролировать. Это касается как лавины научных знаний, так и продукции промышленных поточных линий. Максимализация энергии, скорости или автоматизации, без учёта сложных условий существования, обеспечивающих органическую жизнь, становится самоцелью. По сравнению с ранними формами авторитарной техники и судя по государственным ас-

сигнованиям, современная авторитарная техника концентрирует свои усилия преимущественно на создании орудий полного разрушения, абсолютно лишенных рационального смысла; орудий, применение которых способно искалечить или вообще уничтожить человеческий род. Даже Ашшурбанапал и Чингисхан проводили свои кровавые операции в «нормальных» человеческих границах.

Центр авторитета этой новой системы — уже не осязаемая личность (как, например, всемогущий король), а нечто невидимое и вездесущее: все человеческие компоненты системы, даже техническая и управляющая элита, даже священное жречество науки, имеющее исключительный доступ к тайникам знания, при помощи которого так быстро осуществляется тотальный контроль, — все они являются пленниками ими же изобретенного совершенства. В современных тоталитарных диктатурах центр находится в самой системе, в ее организации. Так же, как и в эпоху пирамид фараонов, служители системы отождествляют ее блага со своим собственным благополучием. Так же, как и во времена короля-божества, их похвала системе — это акт самовосхваления, и так же, как короли, они подвижны иррациональной необходимостью усиливать средства контроля и расширять сферу, подверженную этому контролю. В такой новой системе ориентированного на центр коллектива, в этом Пентагоне власти, не видно тех, от кого исходят распоряжения; в отличие от Бога Иова, они не могут быть ныне ни зримы, ни оспариваемы. Под предлогом экономии труда конечная цель этой техники — подменить жизнь машиной, вернее, передать атрибуты жизни машине и механическому коллективу, оставив незатронутой лишь ту часть живого организма, которая доступна контролю и манипуляциям.

Не следует понимать этот анализ превратно. Угроза демократии не исходит от какого-либо отдель-

ного научного открытия или электронного изобретения. Насилие над человеком, доминирующее в современной авторитарной технике, уходит в глубь тех времен, когда и колесо еще не было изобретено. Угроза проистекает из того факта, что с той поры, как Фрэнсис Бэкон и Галилей нашли новые методы и сформулировали задачи техники, — наши крупнейшие физические преобразования стали осуществляться системой, которая сознательно исключает полноту человеческой личности, не считается с историческим процессом и ставит себе главную цель — контроль над физической природой, а в конце концов и над самим человеком. Эта система настолько коварно прокрадась в западное общество, что мой анализ ее последствий и намерений может показаться более сомнительным и шокирующим, чем сами факты.

Почему наша эпоха так легко сдалась на милость контролеров, манипуляторов, модельеров авторитарной техники? Ответ на этот вопрос звучит как парадокс и ирония. Современная техника отличается от техники прошлых авторитарных систем, откровенно грубых и незрелых, одной чрезвычайно благоприятной для нее особенностью: она взяла на вооружение основной принцип демократии, согласно которому каждый член общества должен получать свою долю создаваемых обществом благ. Постепенно осуществляя эту часть демократических обещаний, наша авторитарная система добилась власти над всем коллективом, которому ныне угрожает потеря и всех других свойств демократии.

Сделка, которую нам сейчас предлагают ратифицировать, принимает форму потрясающего шантажа. Согласно демократически-авторитарному социальному контракту, каждому члену коллектива предоставляется право требовать любое материальное преимущество и любой интеллектуальный или эмоциональный стимул, какой бы он ни пожелал, и в количестве, которое

недавно еще было доступно лишь ограниченному меньшинству: пищу, кров, быстрый транспорт, ментальные коммуникации, медицинское обслуживание, развлечения, образование. Но на одном условии: никто не смеет требовать ничего того, что система не способна дать, и обязан соглашаться брать всё то, что ею производится: должным образом технологически сфабрикованное, однородное и стандартизированное и точно в том количестве, которое нужно не личности, а системе. Как только мы проголосовали за эту систему, выбора больше не остается. Одним словом, если мы готовы пожертвовать самим источником жизни, авторитарная техника нам предоставит всё то, что может быть механически уравнено, количественно умножено, коллективно манипулируемо и восхваляемо.

Чем плоха такая сделка? — мог бы нас спросить представитель системы. Разве блага, предоставляемые авторитарной техникой, не реальны? Разве это не есть тот рог изобилия, о котором так долго мечтало человечество и которым хотел себя обеспечить любой правящий класс?

Я не намерен ни преуменьшать, ни тем более отрицать ценность многих замечательных продуктов, которые могут быть хорошо используемы в рамках авторегулируемой экономики. Я хочу только обратить внимание на то, что настало время учесть недостатки (не говоря уже об опасностях) безоговорочного пристрастия системы как таковой и цену, которой эти блага приобретаются. Даже непосредственная плата за эту систему слишком велика, ведь она еще так далека от возможности человеческого контроля над нею и потому способна полностью нас отравить в своих попытках снабжения пищей или даже уничтожить нас в своих попытках гарантировать национальную безопасность, — причем прежде, чем мы получим возможность насладиться обещанными благами. Можно ли считать достойным человека перспективу прожить не-

сколько лет в царстве благоденствия, чтобы провести затем остаток жизни в царстве ужаса? С того момента, как авторитарная техника утвердит свою власть с помощью новых форм контроля масс и целого набора успокоительных, болеутоляющих и афродизических средств — сможет ли демократия выжить в каких бы то ни было формах? Вопрос этот абсурден — сама жизнь не сможет устоять, будучи пропущенной через мясорубку механического коллектива. Распространение по всей планете стерилизованного научного рас­судка не может стать счастливым завершением божественного замысла, как наивно воображал Тейяр де Шардэн, оно, скорее, означало бы окончательное пресечение возможности дальнейшего развития человека.

И снова предупреждаю: следует избежать ошибки в интерпретации сказанного. Это — не предсказание того, что *случится*, а предупреждение о том, что *может случиться*. Я полагаю, что нужно подумать о том, как избежать такой судьбы. Характеризуя авторитарную технику, которая начинает господствовать над нами, я не забывал о больших уроках истории: «готовьтесь к неожиданному!». Я не упускал из виду и огромные запасы витальности и творческих способностей, которые всё еще оставляет в нашем распоряжении гуманная демократическая традиция. Моя задача заключается в том, чтобы убедить всех заинтересованных в сохранении демократических институтов в необходимости включить и технику в свои конструктивные усилия. И тут мы должны опять обратиться к сердцевине человеческой природы. Мы должны бросить вызов авторитарной системе, отдавшей плоскостной идеологии и технике тот авторитет, который по праву принадлежит человеческой личности. И я вновь повторяю: право на жизнь никому перепоручать нельзя.

Любопытно, что первые слова в поддержку этого тезиса — и в этом их замечательное символическое

значение — вышли из уст добровольного пособника (едва не ставшего классической жертвой) новой авторитарной техники. Эти слова были сказаны космонавтом Джоном Гленном, чья жизнь подверглась опасности из-за дефектного функционирования автоматического контроля, осуществлявшегося из отдаленного центра. После того, как ему удалось спасти свою жизнь путем личного вмешательства, он, выйдя из космической кабины, сказал многозначительные слова: «Пусть теперь человек возьмет дело в свои руки!».

Это приказание легче отдать, чем ему подчиниться. Но если мы не хотим быть вынужденными прибегнуть к еще более решительным мерам, вроде тех, которые предложил Самуэл Батлер в своем произведении «Эрехуон», то нам следует наметить более позитивный путь, а именно путь реконструирования нашей науки и техники таким образом, чтобы включить во все стадии процесса отброшенные части человеческой личности. Это значит, что нам, вместо того, чтобы подчеркивать ненужное однообразие и стандарт, следует отбросить только количественное и тем восстановить качественный отбор, переместить авторитет с механического коллектива в сферу человеческой личности и автономной группы, отдавая этим предпочтение разнообразию и экологической комплексности. Но прежде всего надо приостановить бессмысленную тенденцию системы к расширению. Ее надо сдерживать в определенных человеческих границах и тем самым освободить человека для реализации других целей. Мы не должны задавать себе вопрос, что хорошо для науки и техники и, еще меньше, — что хорошо для Дженерал Моторс и для Юнион Карбид, или для ИБМ, или для Пентагона, — а что хорошо для человека; не для вымуштрованного машиной и отрегулированного системой «массового» человека, а для человека-личности, свободно располагающей собой во всех областях жизни.

Имеются обширные отрасли техники, которые могут быть обузданы демократическим процессом, как только мы преодолеем детское подчинение принуждению и автоматизм, ныне угрожающие нам потерей наших реальных выгод. Само свободное время, которое высвобождает для нас машина, может быть выгодно использовано, но не для дальнейших обязательств по отношению к машине, доставляющей автоматическое развлечение, а для разумных форм труда, неэкономичных или технически невозможных в условиях массовой продукции, для труда, зависящего от специального умения, знания или эстетического вкуса. Движение «do-it-yourself» — «сделай это сам», было преждевременно приостановлено из-за стремления к продаже еще большего количества машин, но сам лозунг этого движения указывает правильное направление, если только сохранится тот «сам», который будет что-то делать. С избытком автомашин, разрушающим ныне наши города, можно справиться только путем такой перераспланировки городов, чтобы этим мог воспользоваться человек в самой эффективной форме своей жизнедеятельности — пешего хождения. Сейчас даже при родах, к счастью, стали отходить от назойливой, часто сопровождающейся смертельным исходом, авторитарной процедуры, основанной на больничной рутине, — и прибегать к более человеческой форме, предоставляющей инициативу матери и природному ритму тела.

Восстановление демократической техники — явно слишком большая тема, чтобы ее можно было изложить в двух-трех заключительных фразах. Но я надеюсь, что достаточно показал, что подлинные преимущества нашей техники, основанной на науке, могут быть сохранены только в том случае, если мы вернем систему в то положение, которое позволит человеческой альтернативе, человеческому вмешательству и человеческим судьбам ориентироваться на цели, резко

отличные от целей самой системы. А в нынешней ситуации, если демократия не существует, то мы должны были бы ее изобрести для того, чтобы спасти и восстановить дух человека.

Техника и политические реформы

Мало кто стал бы отрицать, что изменения в сфере техники вызывают политические последствия, что нынешняя «система» — в самом широком понимании этого термина — не может быть существенно изменена без изменения техники.

И поэтому встает вопрос: что создало современную технику? На него можно дать разные ответы. Мы можем искать ее начало в эпохе Ренессанса или заглянуть еще глубже в прошлое — в эпоху зарождения номинализма — и отметить некоторые перемены в отношении западного человека к религии, науке, природе и обществу, которые, по всей видимости, и привели к высвобождению интеллектуальной энергии, необходимой для современного технического прогресса. Маркс и Энгельс дали более конкретный ответ: «Рост буржуазии, т. е. класса современных капиталистов, владеющих средствами производства и использующих наемный труд».

Но если всем этим мы обязаны буржуазии, то что позволило ей этого добиться? Ответ не вызывает сомнений — создание современной техники. С того момента, как процесс технического совершенствования был пущен в ход, он стал развиваться главным образом в силу собственной инерции, независимо от намерений его инициаторов. А это потребовало создания

Ernst F. Schumacher (p. 1911). Президент «Группы развития средней техники». Почетный профессор университета в Манчестере. Автор технических разработок в духе проповедуемой им методологии «средней техники» и книг: «Export Policy and Full Employment», 1945; «Roots of Economic Growth», 1962; «Small is Beautiful», 1975 (см. рецензию на эту книгу Б. Сергеева «Об альтернативах для новой России», «Посев» № 7, 1976). — Ред.

соответствующей «системы», так как неподходящая «система» привела бы к потере производительности и к краху. Кто бы ни создал современную технику и каковы бы ни были цели ее создания, эта техника (или, по марксистской терминологии, — способ производства) стала сейчас нуждаться в системе, которая ей подходит, которая соответствует ей.

КРИЗИС ОБЩЕСТВА

Так как наше современное общество несомненно переживает кризис, что-то в нем должно быть порочным.

Если, несмотря на блестящую технику, общие результаты плачевны, то, может быть, не подходит система.

Или, может быть, современная техника не соответствует нынешней реальности, включая в нее природу человека.

Какое из этих двух положений верно? Это — самый кардинальный вопрос. Чаще всего приходится встречаться с предположением, что с техникой всё в порядке или что она может быть быстро и легко приведена в порядок, а дело, мол, в «системе», которая настолько порочна, что не позволяет добиться нужных результатов.

По Марксу и Энгельсу, виновата капиталистическая система, система, построенная на прибыли, рыночная система. Другие же полагают, что в этом виноваты то ли национализация, то ли бюрократия, то ли демократия, то ли планирование или некомпетентность хозяев или управляющих; короче говоря, мы едем на прекрасном поезде, но по плохому пути, с негодным машинистом или с массой глупых и недисциплинированных пассажиров.

Всё это могло бы быть и очень верно, но ведь у

нас вовсе нет этого прекрасного поезда. Быть может, самое большое зло таится в том, что было и продолжает быть самой значительной формирующей силой — в самой технике.

Если наша техника была главным образом создана капиталистической системой, то не закономерно ли предположить, что на ней — клеймо ее происхождения? Не является ли она техникой для немногих в ущерб массам, техникой классово-ориентированной, техникой недемократической, негуманной, а также антиэкологической и расточительной?

НЕКРИТИЧЕСКАЯ ПОКОРНОСТЬ

Я никогда не переставал удивляться покорности, с которой люди — даже те, кто называют себя социалистами и марксистами — принимают технику некритически, так, как если бы техника была частью законов природы. В качестве примера такой покорности укажем на премьер-министра Ирана, который сказал в одном из своих недавних интервью:

«Индустриализируя Иран, мы хотели бы избежать многих аспектов западной действительности. Мы нуждаемся только в технике Запада, но не в его идеологии. Мы хотели бы избежать именно внедрения идеологии».

В этом заявлении заложено предположение, что внедрение техники может обойтись без внедрения идеологии, что техника идеологически нейтральна, что можно получить механизмы и машины без той идейной подоплёки, на основании которой они построены, без того, что делает конструкцию механизмов возможной и *обеспечивает их функционирование*. Разве это не напоминает кое в чем желание импортировать яйца для их высиживания с тем, чтобы из них вылупились не цыплята, а мыши или кенгуру?

Я не хотел бы слишком абсолютизировать выше-

сказанное: в нашем мире нет ничего абсолютно ясного, и на одном и том же рояле, несомненно, можно исполнять самые различные мелодии. Но всё же это будет музыка, исполняемая на рояле.

Сейчас мы стоим перед лицом необходимости: то, что мы наблюдаем в современных системах, является неизбежным продуктом техники. Сравнивая общества, которые якобы принадлежат к разным системам, мы наталкиваемся на факт, поражающий своей несомненной очевидностью: там, где эти общества применяют однотипную технику, они ведут себя вполне аналогичным образом и с каждым днем становятся всё более похожими друг на друга. Бездумная работа в бюро и на фабрике одинаково бездумна при любой системе.

ЛУЧШЕЕ ОБЩЕСТВО НУЖДАЕТСЯ В ИНОЙ ТЕХНИКЕ

Поэтому я бы посоветовал тем, кто ратует за построение *лучшего* общества, *лучшей* системы, не ограничивать свою активность попытками изменить только «суперструктуру» — законы, правила, соглашения, налоги, благотворительность, образование. Расходование средств на построение лучшего общества может оказаться просто швырянием денег в бездонную бочку. До тех пор, пока неизменной остается база (т. е. техника), мало вероятно, чтобы в суперструктуре произошли *реальные* изменения.

Мне говорят: прежде чем добиваться успеха с вашей «средней техникой», нужно предварительно изменить систему, покончить с капитализмом и погоней за прибылью, распустить международные концерны, уничтожить бюрократию и реформировать образование. На это я могу лишь ответить следующее: я не знаю лучшего способа изменения «системы», чем пуск

в ход техники *нового* типа, техники, которая позволила бы «маленьким людям» самостоятельно добиваться продуктивности и относительной независимости.

Может быть, существует другой, лучший путь? Если он имеется, то почему бы не попробовать пойти по нему? В чем он — в усилении национализации, благотворительности, в лучшем распределении налогов? Или в реформах местного самоуправления, изменении политического представительства, в планировании? Конечно, каждое из этих мероприятий имеет свои достоинства, и мы пользуемся многими из них, но чем чаще мы этим занимаемся, тем больше всё остается по-старому, если не становится хуже.

В течение XVIII и XIX веков техника росла как бы сама по себе, но затем она всё более становилась производной от науки. Ныне она своим развитием прежде всего обязана науке, и недаром в настоящее время наука оценивается главным образом по приносимым ею техническим плодам.

Поэтому следовало бы начинать с науки и задать себе вопрос: а что определяет развитие науки? Ведь теоретически всегда можно было изучать больше, чем практически возможно, и, следовательно, приходится делать выбор. А от чего он зависит?

От интереса ученых? Да, несомненно. От интересов крупной промышленности и от правительств? Конечно, да. От интересов «народа»? В целом — нет.

«Средние» люди предъявляют достаточно простые требования, для удовлетворения которых едва ли нужна какая-нибудь наука (хотя, может быть, имеется нужда в науке совершенно *отличного типа*, именно в той науке, которая действительно была бы полезной для народа; но это — особый вопрос).

А мы все слышим о «добела накаленной технической революции», об атомном веке, о веке автоматизации, космонавтики, о фантастических успехах инженерного искусства, о сверхзвуковых достиже-

ниях и т. п. и не можем уделить достаточного внимания основным нуждам широких народных масс.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ПРИМЕР США

Наиболее яркий пример, иллюстрирующий это положение, — самая передовая страна современного мира — США. В США средний доход на душу населения более чем в два раза превосходит средний доход в Англии и в Западной Европе. А в то же время мы наблюдаем в США такую унижительную нищету, которую нигде не встретишь в Европе. В США 5,6 процентов мирового населения потребляет до 35 процентов мировой добычи сырья, а страна от того не стала счастливой; большая доля богатств сосредоточена в руках определенной части населения, а среди остальных — предельная нищета, деградация, безнадежность, распри, преступность, бегство от действительности, болезни тела и души; и трудно найти выход из всего этого. Как это стало возможным в стране, которая располагает большими ресурсами, более мощной наукой и техникой, чем какая-либо иная на протяжении всей мировой истории? И люди начинают подвергать сомнению всё и вся, каждый компонент структуры: сферу большого бизнеса, сферу могущественного правительства, сферу большой науки; но постепенно, с колебаниями, ставится, наконец, под вопрос и основа всего этого — техника.

Попробуем проследить за некоторыми структурными последствиями современной техники. Я полагаю, что ее влияние — самая разрушительная сила современного общества. Что может быть более разрушительным, чем притупление человеческой способности к пониманию? И ничто в этом деле не изменилось со времен Адама Смита; наоборот, непрерывный процесс искоренения возможности участия в творчес-

ком труде для огромной части населения продолжается теми же темпами.

ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ

Каково было влияние техники на структуру среды человеческого обитания? Это — интереснейшая тема, а ей было уделено очень мало внимания. Авторитет с мировой известностью в вопросах урбанизации, профессор Кингслей Дэвис, как-то сказал: «Наш мир как целое еще не полностью урбанизирован, но это с ним случится уже скоро». Но дело ведь не в размерах, а в структуре урбанизации. Для того, чтобы жизнь человека была человеческой, вполне человеческой, — человеку нужен город, но ему также нужны пища и сырье, добываемые вне города. Каждому, следовательно, нужен как контакт с городом, так и контакт с открытой местностью. Отсюда следует, что *структура* урбанизации должна быть таковой, чтобы любая сельская местность находилась достаточно близко от города, чтобы люди могли посетить его и в тот же день вернуться домой. Никакая иная структура не может быть человечески более осмысленной.

Но в течение уже около сотни лет развитие шло в прямо противоположном направлении. Сельская местность всё более и более лишалась возможности связи со сколько-нибудь значительным городом. Фактически происходила чудовищная и патологическая поляризация структуры среды обитания. Французские планировщики борются против того, чтобы Франция превратилась в «Париж, окруженный пустыней». В США стал употребляться термин «мегалополис», означающий крупные городские комплексы, возникновение которых протекает одновременно с исчезновением мелких и средних сельских поселений.

Многие ли помнят еще о социалистическом тре-

бовании, сформулированном более ста лет назад?

«Сочетание сельского хозяйства с мануфактурным производством, постепенное уничтожение разницы между городом и деревней путем более равномерного распределения населения по территории страны» («Коммунистический манифест», 1848).

А что случилось за эти более чем сто лет?

В документе, опубликованном Международным банком, отмечается:

«Большинство мелких городских центров ... лишены основной инфраструктуры в сфере транспорта и услуг ... менеджеры и специализированный персонал неохотно покидает большие города».

В качестве выхода предлагается, очевидно, перенести в небольшие поселения технику, развивающуюся так, чтобы она могла *соответствовать крупным агрегатам*. Однако в небольших центрах люди неспособны эту технику использовать, так как менеджеров и персонал надо импортировать из крупных городов; но никто не хочет переезжать в эти маленькие центры, поскольку такое мероприятие лишено экономического смысла.

Так как моя фамилия Шумахер*, то мне вполне понятно, что хорошему сапожнику недостаточно знать, как делаются хорошие сапоги; надо кое-что знать и о ноге, которая их будет носить. Сапоги, сделанные для крупного парня, не подходят для низкорослого. Для маленькой ступни нужны сапоги не *худшие по качеству*, а подходящего размера. Современная техника, вообще говоря, готовит хорошие сапоги лишь для рослых ребят. Она приспособлена к массовой продукции. Она необычайно сложна и требует огромных капиталовложений. Она подходит только для крупных городов, для территорий мегалополисов или их окрестностей.

* По-немецки значит сапожник. — Ред.

ПОДХОДЯЩАЯ ТЕХНИКА

Простое решение этой проблемы, по всей видимости, лишь немногим приходило в голову. А оно таково: следовало бы мобилизовать хотя бы часть наших интеллектуальных ресурсов для создания техники, которая бы подходила для мелких поселений.

Невероятное количество денег тратится на удовлетворение нужд безостановочно растущих территорий мегалополисов и на то, чтобы попытаться вдохнуть новую жизнь в «развивающиеся территории». Но если кто-либо предложил бы истратить небольшое количество денег на создание техники, которая соответствовала бы *реальным условиям развивающихся территорий*, то он был бы обвинен в желании вернуть нас вспять, к Средним векам.

Проследив влияние современной техники на природу труда и на структуру среды человеческого обитания, разберем теперь третий, сугубо политический пример влияния техники на человеческую свободу.

Это — очень деликатный вопрос. Что такое свобода? Вместо того, чтобы обращаться к сложным философским соображениям, попробуем обратиться к бунтующей молодежи с вопросом, чего она добивается?

Ее отрицания сводятся к следующим:

я не хочу соучаствовать в мышинной возне;

я не хочу быть рабом машин, бюрократии, скуки и безобразия;

я не хочу быть автоматом или роботом;

я не хочу быть лишь частью личности.

А ее утверждения?

Я хочу делать то, что я хочу;

я хочу жить (относительно) просто;

я хочу иметь дело с людьми, а не с масками;

важны люди, важна природа, важны красота и цельность;

я хочу быть способным проявлять заботу о чем-то.

Всё это я называю стремлением к свободе.

Почему было потеряно так много свобод? Некоторые утверждают: «Ничего не было потеряно, просто люди требуют большего, чем прежде». Как бы то ни было, факт остается фактом: что касается столь драгоценной вещи, как свобода, здесь мы наблюдаем пропасть между спросом и предложением. Имеет ли техника какое-либо отношение к этому вопросу? Конечно. Размеры и сложность организации техники в значительной мере несут ответственность за это положение. Почему мы вот уже сто лет, как наблюдаем тенденцию к созданию всё более крупных комплексов? Никому, за исключением маниакальных магнатов, всё это не нравится. Почему создалось такое положение? В силу технического прогресса. А почему бы нашим инженерам не направить технический прогресс по иному пути:

в сторону малых размеров;

в сторону простоты;

в сторону дешевизны;

в сторону технической безопасности для человека и природы?

Если мы ставим этот вопрос перед инженерами, они отвечают: «Потому что никто этого не требует». А если вы спросите: «Но ведь это возможно?», ответ будет: «Да, конечно, при наличии спроса это могло бы быть сделано».

ЛУЧШЕЕ СТАНОВИТСЯ ВРАГОМ ХОРОШЕГО

Обнаружить этот процесс нетрудно. Так как лучшее — враг хорошего, то лучшее исчезает, хотя большинство людей не может себе позволить иметь это лучшее из-за недостатка денег, состояния рынка, неудовлетворительности управления или по каким-либо иным причинам. Поэтому те, кто не могут идти в ногу

с прогрессом, выпадают из него, оставаясь на первоначальных стадиях технического развития.

Если, будучи крестьянином, вы не имеете возможности приобрести трактор или уборочный комбайн, то где вы можете приобрести хорошее оборудование для соответствующих работ на лошадиной тяге, такое, например, как я сам употреблял тридцать пять лет назад? Едва ли вы сможете его найти. И в таком случае вы должны будете *отказаться от занятия сельским хозяйством.*

Можно легко обзавестись мотыгой или серпом, они по-прежнему доступны; столь же легко обзавестись самым последним и совершенным оборудованием для тех, кто себе это может позволить. Но средняя, промежуточная техника исчезает. А если не исчезает вовсе, то страдает от полного к ней невнимания — никаких улучшений, никакого использования новых знаний; она остается устарелой и непривлекательной.

Всё это приводит к потере свободы. Власть богатых и сильных становится всё более всеобъемлющей. Свободный и независимый «средний класс», способный противостоять монополю власти богатых, исчезает вместе с исчезновением «средней техники» (остается лишь «средний класс» служащих управленческого и исполнительного аппарата в богатых организациях, но он не может ничему противостоять). Производство и доход остаются в руках всё меньшего количества людей, организаций, бюрократий — тенденция, которую отчаянно пытаются компенсировать увеличением благотворительных выплат и перераспределением налогов; остальная же часть человечества барахтается в попытках найти оставленную богатыми щель, в которую можно было бы протиснуться. Поэтому «первая заповедь» гласит: «Ты должен приспособиться». К чему? К доступным «щелям». А если их нет в достаточном количестве, то ты осужден на безработицу. Так как ты и раньше ничего не делал

самостоятельно, то мало вероятно, что ты это можешь делать и сейчас, а техника (та, во всяком случае, которая могла бы тебе помочь работать самостоятельно и *продуктивно*) — не найдена.

СРЕДНЯЯ ТЕХНИКА

Где же выход из этого положения? «Закону исчезающего среднего» в технике должна быть *противопоставлена сознательная работа* по разработке «средней техники»,

малой по размерам;

простой по конструкции;

дешевой в использовании;

безопасной для человека и для природы.

Это особенно важно в сфере активности жизненно необходимой для человека, а именно — в сфере сельского хозяйства.

Фактически же сельскохозяйственная техника в своем нынешнем виде поразительно отражает все четыре характеристики современного технического развития, которые я уже отмечал:

гигантизм;

сложность;

дороговизна;

опасность для человека и природы.

В результате современная сельскохозяйственная техника стала потреблять огромные количества горючего. Если бы четыре миллиарда населения планеты надо было бы кормить на базе нынешней системы производства продуктов питания, то все известные ныне «разведанные запасы» нефти были бы уже через тридцать лет исчерпаны только для покрытия нужд сельского хозяйства.

К аналогичным трагическим последствиям привело бы развитие современной техники в ее *прежнем русле*

и в других сферах ее применения. Следовательно, разрешение стоящих перед нами проблем не может быть отложено до того момента, когда мы найдем проблематический выход в нахождении некой «лучшей системы». Этот выход не различим на ближайшем историческом горизонте. Решать проблему надо сейчас, и начинать следует с самого главного и основного — с изменения русла, в пределах которого развивается нынешняя техника. Она должна быть поставлена на службу человеку и перестать быть источником власти и злоупотреблений для незначительного меньшинства.

Европейские демократии на пороге решений

В течение последних лет наш мир так глубоко изменился, что и организационные формы нашего общества требуют не только переосмысления, но, возможно, и перестройки.

Необходимость принимать срочные решения, ставшая перед европейскими демократиями, возникла в связи с фактом, который следовало бы определить как «неуправляемость современных демократий». При этом я предполагаю, что «неуправляемость» свойственна и другим политическим системам, хотя в них ее симптомы могут проявляться по-иному.

Причины этой «неуправляемости» я вижу, прежде всего, в следующем:

1) в огромной и возрастающей сложности нашего мира, с которой не могут справиться ни отдельные люди, ни целые политические организации. Мне кажется, что это обстоятельство хорошо освещено в работах специалистов по системному анализу, открывших, что сложные политические, экономические и социальные системы часто ведут себя «антиинтуитивно» и что вмешательство в функционирование этих систем нередко приводит к последствиям, отличающимся от интуитивно ожидавшихся.

Так, политическое поведение (от решений, принимаемых каждым во время голосования, до парламент-

Karl W. Steinbuch (p. 1917). Доктор-инженер физик, специалист по электронике. Профессор кафедры по обработке и передаче информации в университете Карлсруэ. Автор ряда книг по автоматике и социальному планированию. Важнейшие из них: «Automat und Mensch», 1961; «Falsch programmiert», 1968; «Die humane Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Kommunismus», 1972; «Kurskorrektur», 1973.

ского одобрения законодательных актов) основано на интуитивных суждениях о реальности, а поэтому оно всё чаще ведет к результатам другим, нежели предвидевшиеся;

2) в быстроте изменений, особенно в области техники, за которой не поспевают ни отдельные люди, ни политические организации. Например, как сильно отстает законодательство от новых технических требований! Как легко при этих быстрых изменениях разрушается сложившийся порядок нашего общежития!

3) в разрыве между средствами массовой информации и действительности. Эти средства, особенно если они используют электронную технику, подчиняются в наше время собственным закономерностям, которые не могут ни быть оправданы задачами, которые себе ставят наши политические организации, ни согласованы с мнением большинства.

К этому следует добавить давно уже известные организационные недостатки либеральных демократий, прежде всего конфликты между тем, что следовало бы сделать ради достижения разумных, хотя и более далеких, целей, и необходимостью выиграть выборную кампанию.

Но я полагаю, что преимущество нашей политической системы заключается в тех многочисленных свободах, которые она гарантирует: свободе совести, свободе мнений, свободе собраний, свободе передвижения, свободе выбора профессии, свободе владения имуществом и т. д.

Эти конституционно гарантированные и в значительной мере осуществляемые положения либерализма кажутся мне тем существенным, что мы должны сохранить в ходе будущих реформ по следующим двум причинам:

во-первых, в климате либеральности создаются более благоприятные возможности для творческого подхода к разрешению наших будущих проблем, а мы

ведь идем навстречу времени, которое потребует большой силы воображения. Если коллективные организации отличаются большей эффективностью в разрешении проблем *старых* и постоянных, то либеральные организации предоставляют лучшие условия для творческого выявления и разрешения проблем *новых*;

во-вторых, либеральный стиль жизни представляется мне единственно желательным. Я субъективно убежден, что такие понятия, как «удовлетворенность жизнью», «счастье», а иногда и «качество жизни», скорее приобретают плоть и кровь не в коллективистических, а в либеральных системах. В других этнических регионах это, может быть, иначе, но я считаю такое утверждение справедливым для старой культуры Средней Европы.

Не следует, однако, тешить себя и иллюзиями: наше будущее в густо населенных промышленных районах сузит рамки свободы и принудит нас больше считаться друг с другом.

Так, например, требования охраны окружающей среды и регулирования транспорта не могут быть менее жесткими в либеральных странах, чем в странах нелиберальных. Либеральная организация отличается от других не количеством норм поведения, а способом их внедрения.

В то время как в нелиберальных общественных системах нормы поведения без стеснения навязываются извне, либеральные общества пытаются достичь результатов обращением к этическим установкам человека.

В этом и состоит противопоставление человека управляемого — человеку автономному. Употребляя термин «автономный», я имею в виду только поведенческий аспект человека, не рассматривая вопроса о происхождении этических норм.

Многие полагают, что либеральность означает отсутствие моральных предписаний. Я же определенно

подчеркиваю, что либерализм, более чем какой-либо иной политический принцип, опирается на нравственную сознательность. Она особенно необходима, когда дело касается реформ. Отсутствие нравственной сознательности грозит привести к реформам, лишенным рационального смысла, превратить прогресс в самоцель и потерять способность видеть разницу между желательным развитием и безрассудным разрушением.

В настоящее время либеральные формы жизни подвергаются опасности. Я не собираюсь обсуждать вопрос об отрицательном влиянии смещения военного равновесия сил, но отмечу лишь некоторые из грозных симптомов внутреннего характера:

В результате разрушения традиционных социальных структур многие стали искать прибежища в мнимой безопасности, создаваемой коллективом.

Политика нашей страны всё больше определяется людьми, для которых отсутствие либеральности — не пережитая практика*, а отдаленная теория.

Возрастающая власть профсоюзов сужает рамки либеральности, особенно в экономической сфере.

Массовые средства информации развивают антилиберальные тенденции, — даже тогда, когда они к этому и не стремятся.

Я покажу на двух примерах, как мы уже свыклись с антилиберальными представлениями о будущем.

Когда двадцать пять лет назад Дж. Оруэлл опубликовал свою антиутопию «1984», она воспринималась как отдаленная и даже нереальная угроза. Сейчас мы приблизились к 1984 году не только во времени, но и к предсказанному исчезновению либеральности.

В 1931 году английский писатель Олдос Хаксли написал свою предупреждающую человечество антиутопию «Прекрасный новый мир», в которой изобра-

* Речь идет о Федеративной Республике Германии и ее прошлым в период национал-социализма.

зил, как при помощи безотказно действующей системы евгеники можно моделировать человеческий материал, облегчая тем задачу менеджеров.

Первоначально Хаксли относил свое предвидение к грядущим векам, но в своей книге «Вновь посещенный прекрасный новый мир», написанной тридцать лет спустя, он уже высказал сомнение, так ли далеко это будущее: «Предсказания 1931 года осуществляются ранее, чем я думал».

Тот, кто знаком с исследованиями генетиков, знает, что:

1) возможность генетических поправок и учёт их последствий до настоящего времени покрыты мраком неизвестности*;

2) международная дискуссия биологов по вопросу, допустимы ли вообще исследования, ставящие себе целью изменение генетической субстанции, обнаруживает резкие расхождения между теми, кто настаивает на моральной ответственности ученого, и теми, кто подходит к вопросу поверхностно и легкомысленно.

Человеческая автономия, помимо прочего, находится под угрозой часто выдвигаемого требования если не тотальной, то далеко идущей «прозрачности» социального поведения индивидуума. Следовало бы знать, что, когда и почему человек сделал или сказал, с тем, чтобы сравнить это с предписаниями коллектива. Каждый должен не только планировать поведение другого, но и контролировать его, наказывать его, не доверять ему. Таким образом, человеческое поведение может быть сведено к простой и понятной схеме. В пределе развитие в таком направлении доводит до закрепленного в законодательстве требования публичного покаяния в уклонизме и в совершении преступлений в мыслях.

* См. на эту тему статью В. Д. Поремского «На лезвии ножа» в «Гранях» № 70 за 1969 г. — Ред.

Такому развитию событий надо вовремя противодействовать: человек принципиально автономен и, в рамках демократически принятых законов, имеет право на своевольное мышление и поведение, даже право на творческую непоследовательность.

Это право на творческую непоследовательность мне кажется необходимым в мире, сложность которого превосходит нашу способность к восприятию информации. Этим обосновывается и защита прав любого меньшинства, которая в либеральных общественных системах сама собой разумеется.

Теория систем недавно обнаружила, что сложные системы часто ведут себя «антиинтуитивно». Значение этого открытия для политической сферы еще недостаточно изучено, а оно очень существенно для будущего, особенно для будущего либеральных режимов.

Легко обозримые, несложные системы ведут себя «интуитивно», т. е., иначе говоря, можно заранее предвидеть, к каким последствиям приведут определенные воздействия на них. Например, если мы положим груз на правую чашу весов, то левая подыметя. Но чем сложнее система, тем ненадежнее интуитивные предвидения. Основные биологические, социальные, экономические и политические системы настолько сложны, что становится невозможным предусмотреть реакцию на то или иное вмешательство.

Большинство решений, особенно принятых легальным демократическим путем, основано на интуитивных суждениях, и потому они часто неверны. Например, человек страдает от необходимости подчиняться принуждению и нередко чувствует себя по этой причине несчастным. Отсюда интуитивное, но неверное заключение — освободи человека от принуждения и он начнет сиять от счастья! Это интуитивное заключение противоречит всему накопленному опыту. Оно прямо противоположно основному гомеопатическому

принципу — лечить болезнь при помощи подходящих раздражителей.

Я полагаю, что нам следовало бы использовать «антиинтуитивный» опыт в социальной области и, прежде всего, учесть тот факт, что человек, научившийся выносить как социальные раздражители, так и социальный риск, этим психически укрепляется и не попадает больше на удочку коллективистских соблазнов.

Чтобы сохранить нашу либеральность, следует, прежде всего, защищать человеческую автономность от внешних ограничений.

Особенно опасно здесь крайнее несоответствие между невероятной сложностью мира и ограниченностью нашего сознания. Никогда еще это несоответствие не достигало таких масштабов, как в наше время (лавина информации, специализация и т. д.). С возрастанием сложности рушится всё больше мостов (которые создавали возможность нашего взаимопонимания), в результате чего ослабляются предпосылки взаимного доверия между людьми. Каждый человек понимает только ничтожную долю реальности, всё же остальное считает непонятным, а часто даже враждебным. Почему я должен подчиняться правилам, которых я не понимаю? Почему не увеличивается мой доход, моя власть, мой престиж? Одновременно исчезает и чувство ответственности за общее благо, общество всё больше становится нагромождением претензий — все начинают предъявлять требования к непонятному обществу, хозяйству и государству, совсем не думая о том, что каждому требованию должен соответствовать и вклад, а распределение благ не может превышать ста процентов получаемых доходов... Так, за утерей осознания реальности следует утеря осознания права и уважения к заслугам других.

От отсутствия этого уважения особенно страдают люди, которым приходится принимать решения. В на-

шем сложном мире, при поисках оптимума, не обойтись без компромиссов; некоторые из критериев принимаются во внимание, а другие отбрасываются. Отброшенные критерии можно легко полемически использовать и построить на них обличительную критику. Такой критики избегают лишь те, кто вообще отказывается от принятия решений.

Разделение труда необходимо во всех высокоиндустриальных странах. Из этого обстоятельства можно вывести три несовместимых в их совокупности положения:

- принцип разделения труда;
- принцип перманентного недоверия к партнеру;
- принцип либеральной организации.

На практике необходимо отказаться от одного из этих принципов:

отказ от разделения труда означает скатывание в состояние примитивного общества;

отказ от либеральной организации открывает путь для насильственного распределения труда;

и только отказ от перманентного недоверия к партнеру делает возможным кооперативное распределение труда.

Взаимное доверие, если не доказана его непригодность для достижения цели, — необходимая предпосылка для совместной работы в условиях высокоразвитого либерального общества.

Достоинства этого общества, так же, как и заложенные в нем опасности, лежат в области информации. Действительно, важнейшая отличительная черта либерального общества — это беспрепятственное поступление информации к каждому его члену и, в принципе, включение мнения этого каждого в процесс принятия решений. Но, с другой стороны, развитие современных средств информации таит в себе и наибольшую угрозу.

Гарантированная во всех либеральных обществах свобода мнений была бы достаточной, если бы граждане могли свои собственные автономные мнения основывать на непосредственном восприятии действительности и если бы из совокупности этих мнений создавалось мнение большинства. Но в наше время именно так и не получается: очень многие составляют свое мнение о действительности не на основе непосредственного наблюдения, а судят о ней по тому, как она была представлена средствами информации. И споры часто идут не о действительности, а об ее отображении.

Но отображение ее представляет собой нечто отличное от действительности; оно — результат выбора тем, формы изложения и манипуляций ассоциациями; получаемые в результате искажения могут быть преднамеренными, но могут быть и неосознанными.

Если целью этих манипуляций было бы приведение мнений к общему демократическому знаменателю, тогда искажалось бы мнение большинства и, следовательно, такое положение было бы (может быть!) терпимо. Но увы, нет сомнения в том, что общественное мнение резко отличается от его отображения в средствах массовой информации.

Так случилось, что в средствах массовой информации установились теоретически вполне понятные, но трудно выносимые на практике закономерности: необычайные происшествия приобретают повышенную информационную ценность, а происшествия обычные — низкую. Нормальным, например, считается, что общепринятое социальное поведение недостойно внимания репортера, а зверства и нелегальщина более пригодны для информации, чем гуманные и легальные поступки.

Отсюда соблазн — раздувать значение соответствующих событий, непонятное нормальное поведение представлять в виде скандала и изображать перед

доверчивым получателем информации нашу совместную жизнь как театр ужасов. Доведя такую картину до сознания получателя информации, его легко убедить в том, что с нашей скандальной политической системой пора наконец покончить.

Другое давление на получателя информации оказывается вследствие неизбежного для средств информации упрощенчества: то, что передается в эфир, должно быть понятно миллионам сразу, так как они не могут задавать вопросов. Таким образом, в эфир имеет возможность попадать почти только самое элементарное; простые умозрительные модели вытесняют дифференцированные, и утверждаются идеологии с самым убогим теоретическим багажом.

Если прежде духовное развитие определялось и сопровождалось всё более утонченными различиями, то сейчас верх взяла гигантская машина упрощения.

Борьба мнений в сфере массовой информации, к сожалению, протекает не так, чтобы в результате обсуждений поддержку общественности получало наилучшее мнение или намерение. Разные мнения и разные намерения имеют неравные шансы на свое распространение: некоторые из них, в зависимости от органа печати, недоброжелательно искажаются, а другие восторженно поднимаются на щит. Правда, это печальное положение несколько смягчается, благодаря существованию многочисленных органов печати, но отнюдь не устраняется.

Успех журналов и газет определяется прежде всего количеством подписчиков и так называемым «голосованием у киосков». А успех радио и телевидения — прежде всего коэффициентом включений приёмников и числом высказываемых тем или иным программам одобрений. В обоих случаях желание успеха перевешивает чувство ответственности. На практике это и определяет непреодолимое давление на содержание сообщений. Только так можно объяснить домини-

рующую роль, которую играют в информации преступления, секс, классовая борьба, ненависть и зависть.

В настоящее время происходят технические изменения, политические последствия которых еще совершенно необозримы; а именно: замена бумаги как носителя информации электричеством как ее преимущественным передатчиком. Эти два носителя информации различны не только по своим техническим качествам, но главным образом по своим совершенно различным воздействиям. Говоря упрощенно: бумага соединяет во времени, а электричество — в пространстве.

Потеря координаты времени в электрических средствах информации ведет не только к пренебрежению историческим мышлением, но и к потере чувства ответственности. То, что передано по радио, быстро становится достоянием прошлого и не может быть привлечено к ответственности. Совсем иное дело в случае книги и газеты — они содержат информацию в сохранности, и их авторы могут быть привлечены к ответственности.

Другое опасное обстоятельство связано с колоссальным количественным увеличением средств информации, что ставит критика в безвыходное положение: только он успел продумать и подвергнуть критике какой-нибудь абзац, как в то же время появилась еще тысяча новых, столь же нуждающихся в критике. Залитый этим информационным потоком, критик, в конечном счете, опускает в беспомощности руки.

Что же можно предложить в виду создавшейся ситуации?

Было бы слишком претенциозным предлагать разные уже известные рецепты, но я позволю себе всё же обратить внимание на следующее:

— мы нуждаемся в бóльшем количестве критических анализов и в просветительной работе среди наших сограждан. При этом очень важно оценивать

политические намерения и решения по их реальным результатам, а не по их интеллектуальной привлекательности;

— мы должны требовать от использующих средства массовой информации бóльшего чувства ответственности за общее благо. И нет такой альтернативы: цензура или полная безответственность. Как из раннего капитализма, ориентировавшегося преимущественно на прибыль, возникло рыночное хозяйство, так и из современного «раннего периода коммуникаций» должна развиться его ответственная форма;

— мы нуждаемся в более обстоятельном теоретическом обосновании либеральности и, прежде всего, в лучшем понимании ее границ.

Будущее свободы

ДИКТАТУРА И ДЕМОКРАТИЯ

В настоящее время в мире насчитывается меньше стран с демократическим режимом, нежели с режимом диктаторским. С конца второй мировой войны количество этих последних неуклонно увеличивается. Правда, не все из диктаторских режимов приняли тоталитарные формы наподобие советской или китайской, но именно в этих двух странах и в странах, находящихся под их непосредственным господством, проживает почти половина человечества. Что же касается стран демократических, то и в них можно наблюдать процесс постепенного уменьшения гражданских свобод и увеличения количества стеснительных и ограничительных норм.

В чем причина этого как будто бы неумолимого процесса?

Одно из объяснений таково: в отсталых странах переход относительно примитивных хозяйственных форм и структур к более совершенным формам высокоиндустриализированных обществ легче совершается под руководством «просвещенного меньшинства», пользующегося диктаторскими приемами для вывода страны на большую дорогу прогресса.

В ряде случаев можно показать, что скачок из царства отсталости и прозябания в царство относительного благополучия и комфорта (главным образом

В. Д. Поремский (р. 1909). Физик и социолог. Член-основатель Всемирной ассоциации футурологических исследований. Автор статей и работ по теоретическим проблемам борьбы с диктатурой. — Ред.

для самого «просвещенного меньшинства»!), действительно, начинался с установления диктатуры. Едва ли, однако, это наблюдение может служить доказательством необходимости диктатуры в качестве промежуточного звена. Есть случаи, и куда более яркие, когда выход «на большую дорогу прогресса» не сопровождался установлением диктатуры. Об этом свидетельствует история всех больших демократий, не нуждавшихся в диктатуре для того, чтобы стать передовыми индустриальными странами. Правда, и в их среде были случаи рецидива диктатур (Германия, Италия), но после их устранения эти страны не откатывались назад, а продолжали развиваться, и очень бурными темпами. И наоборот, на примере СССР видно, что сохранение там диктатуры явно тормозит развитие страны и обуславливает отставание темпов ее прогресса по сравнению с передовыми индустриальными странами. Вся же история этой страны со времени установления в ней диктатуры показывает, что если преодоление отсталости и совершалось довольно быстро, то далеко не безболезненно; и вполне закономерен вопрос: были ли оправданы миллионы жертв переходом этой державы в ранг второй в мире по своей глобальной экономической мощи (главным образом в сфере военной промышленности)?

Итак, верность приведенного выше объяснения едва ли доказуема и, во всяком случае, оно ничего не дает нам для понимания процессов, наблюдаемых в демократических обществах. В них процесс насильственно углубляющейся регламентации жизни идет как бы стихийно, вызывая, с одной стороны, протест и сопротивление, а с другой — тягу к установлению «порядка» и прекращению произвола власть имущих путем установления коммунистической или националистической диктатуры.

Другое объяснение основано не на признании достоинств диктатуры, а на выявлении слабости демо-

кратии. Дело, мол, в том, что демократические правительства неспособны к проведению политики «долгого дыхания» и «дальнего прицела». Они принуждены считаться с сиюминутными настроениями и требованиями избирательного корпуса, т. е. массы населения, а она живет сегодняшним днем, узко понятыми личными и групповыми интересами и неспособна по своей некомпетентности в сложностях современной структуры взвесить далеко идущие последствия мер, принимаемых в интересах будущих поколений.

Это объяснение звучит более убедительно. Оно и морально более приемлемо, так как признает, что диктатура, т. е. насилие — зло, хотя и меньшее из зол. Но, с другой стороны, оно исходит из сомнительных предпосылок, что

а) помимо диктатуры, нет никакого иного меньшего зла,

б) в обществе есть такая объективно устанавливаемая группа, которая, временно попирая свободы большинства, способна осуществить для него лучшее будущее,

в) что оно будет приемлемым для последующих поколений.

Разберем эти утверждения по очереди.

МЕНЬШЕЕ ЗЛО

Первое положение равносильно утверждению, что демократия есть большее зло. Так ли это? Едва ли кто-нибудь возьмется утверждать, что современная демократия западного образца есть идеальная общественная форма, не требующая дальнейшего совершенствования. Но никто, пожалуй, не сможет и доказать, что она преграждает все пути для такого совершенствования.

Иное дело — диктатура. Ее преимущества могли

бы быть доказаны или на *практике* или в *теории*.

До сих пор ни одна диктатура не смогла похвастаться не временными (временные успехи имела и национал-социалистическая диктатура в Германии!), а длительными и окончательными успехами. Наоборот, после первых и порой быстрых успехов установившиеся диктатуры всё более и очевиднее выявляли свои отрицательные формы: перманентный и жестокий аппарат насилия, рост бюрократии и ее незаконных привилегий, снижение темпов научного, технического и экономического развития из-за выдвигания во всех сферах жизни не самостоятельных и оригинальных мыслителей, творцов и деятелей, а послушных и безинициативных исполнителей.

Однако эта практика (которую вне сферы диктатур или не знают или *не хотят* знать!) еще не привела (и приведет ли в ближайшее время?) к опровержению и *теоретических* основ диктатуры из-за соблазнительности их для той части человечества, которая еще не испытала на себе конкретно и длительно все последствия отказа от свободы во имя химерных надежд на радикальное излечение бед и несправедливостей демократического общества.

Можно ли сбросить со счетов или не считаться с силой этого соблазна, не вскрыв его причины и не открыв *иные* пути в лучшее будущее?

Это очень трудная задача, так как убедительности плачевной практики современных диктатур противостоят очень сильные и уходящие в глубь веков эмоции. Эмоции эти проистекают из веры или в силу и спасительность *личности*, олицетворяющей интересы и миссию нации, или в силу и спасительность науки, доказавшей свою мощь огромными достижениями. Националистические диктатуры апеллируют главным образом к первой из этих эмоций, а диктатуры, построенные на «научном социализме», — ко второй.

Сейчас же мы всё чаще встречаемся с комбинацией этих двух элементов.

Сила этих эмоций в их укорененности в человеческой природе, выкованной в течение тысячелетий социальной истории человечества. Здесь — прямая нить от старшины или вождя племени и клана к современным «фюрерам». Что же касается науки, то в сознании современных людей она всё больше занимает место религии, т. е. того трансцендентного и иррационального (для профанов, «верящих» в науку, а их — большинство), что играло в истории человечества едва ли не решающую роль.

Эти две эмоции лежат в основе нынешних соблазнов, по существу сугубо реакционных, так как они тянут человека назад к первобытной обеспеченности и безответственности личности в рамках коллектива, подчиненного воле высших сил.

Поэтому неудовлетворительность практики диктатур — недостаточно сильный аргумент для воздействия на эту сторону человеческой природы, и решение вопроса (или подход к этому решению) надо искать не столько в разоблачении и осуждении диктаторской практики и даже не столько в отрицании и опровержении идейно-теоретических основ современных диктаторских режимов, сколько в объяснении глубинных причин их успехов и в апелляции к другой стороне человеческой природы — к ее столь же неистребимому и непреодолимому стремлению к свободе.

Демократия, даже в ее нынешних несовершенных формах, обеспечивает *пока* тот минимум свободы, который не делает безнадежным расчёт на ее дальнейшее совершенствование. И поэтому демократия — как минимум — зло меньшее, чем зло диктатуры, по существу принципиально затрудняющее прогресс человечества, если не влекущее его в сумерки первобытных пещер, хотя и обеспеченных более или менее сносным техническим комфортом.

МАССА И ЭЛИТА

Как системы демократии, так и системы диктатур нашли свои методы выделения правящего меньшинства и наделения их соответствующими привилегиями. И те и другие системы претендуют на то, что применяемые ими методы лучше всего отражают волю и интересы большинства и выдвигают к кормилу власти лучших и наиболее способных людей. В демократиях используется способ арифметического подсчета голосов, на основании которого и формируется правящая группа, в диктатурах же миссию осуществления воли большинства и защиты его интересов явочным порядком берет на себя или личность или партийная группа, претендующие на лучшее понимание интересов общества или «научных» законов его развития.

Оба метода имеют свои сильные и слабые стороны.

Демократы утверждают, что именно воля большинства должна быть определяющей и что партийно-парламентарная система наилучшим способом ее выявляет и затем отражает в политике демократически избранного правительства.

Но не только сторонники диктатуры подвергают сомнению оба эти положения. Критики современной демократии ставят вопрос: способно ли большинство, *только* потому, что оно большинство, оценить правильность той или иной политики? Может ли человек, недостаточно компетентный в вопросах, связанных с функционированием нынешних необычайно сложных социальных механизмов, учесть все последствия того или иного политического решения? А ведь основная масса избирателей принадлежит именно к этой недостаточно сведущей категории. Отсюда вывод — ориентация на волю большинства отнюдь не гарантирует проведение хорошей для большинства политики.

Но помимо этого, рассуждают критики, действительно ли демократическая выборная практика выявляет волю большинства? Ведь мнение избирателя формируется под влиянием получаемой им информации, а эта информация фильтруется и препарируется влиятельными группами, сознательно манипулирующими источниками информации (пресса, радио, телевидение, а то и искусство и школа) в своих групповых интересах. Кроме того, избиратель высказывает свое мнение не по каждому отдельному вопросу (по которому, сравнивая различные источники информации, можно всё же составить себе довольно объективное представление), а принужден принимать *целиком* программу той или иной партии, программу, которая затем проводится в жизнь партийными лидерами (выдвигаемыми на свои посты внутри партии зачастую по пресловутому принципу «демократического централизма») по их усмотрению и далеко не всегда так, как этого желали бы избиратели.

Правда, за это политики расплачиваются тем, что на следующих выборах на их место приходит оппозиция, но и она, в свою очередь, поступает как и ее предшественники; в результате чего избиратель обрекается на перманентную неудовлетворенность, и в его среде начинают возникать и набирать силу группы, предлагающие радикальное средство устранения этого недостатка, а именно установление националистической или коммунистической диктатуры.

Так, используя систему демократии и почти не нарушая правил демократической игры, в Германии в 1933 году пришли к власти национал-социалисты.

Пытаясь предотвратить такой ход событий, современные демократии принуждены вводить в свое законодательство запрет деятельности радикальных групп и бороться с ними полицейскими мерами, становясь тем самым на скользкий путь ограничения гражданских свобод и размывания четкой грани между демо-

кратией и диктатурой. А это, в свою очередь, используется диктатурами, обвиняющими демократию во лжи и лицемерии.

Но оба приведенные выше обвинения с еще бóльшим основанием могут быть брошены в адрес диктатуры. Там не только практически, но (в коммунистических странах) и теоретически воля большинства* вообще не принимается во внимание, так как она *заранее* известна привилегированной группе, тем или иным способом захватившей власть. Комедия «выборов» с отдачей 99,9 процентов голосов единственному выставленному кандидату есть лишь лицемерная дань порока диктатуры — добродетели демократии, косвенно подтверждающая моральную ценность последней.

Что же касается препарирования информации и манипулирования ею, то в странах диктатуры это достигается путем тотального контроля над *всеми* источниками информации. Поэтому первоначальный кредит доверия, оказываемый диктатуре, быстро испаряется, и в руках правящей группы остается лишь один верный инструмент власти — террор и насилие.

В этой сфере преимущества демократии очевидны. Но, как мы видели, и демократии не решили вполне удовлетворительно взаимоотношение массы и элиты, и поэтому, думается, что этот вопрос *вообще* неразрешим в политической плоскости.

* В высокоиндустриализированных странах рабочий класс и крестьянство, снабжающие население материальными и элементарно необходимыми для существования продуктами и изделиями, едва-едва составляют треть населения. С ростом механизации и автоматизации трудовых процессов этот процент продолжает падать, а сам изменяющийся характер труда требует от его исполнителя в растущей мере не физических, а интеллектуальных усилий. Так как одновременно растет и благосостояние этой группы населения, то к ней всё меньше приложимо название «пролетариата» в значении этого термина, употреблявшемся сто лет назад. А в коммунистических странах устанавливается — теоретически — диктатура именно так понимаемого пролетариата.

ПЛЮРАЛИЗМ СИЛ

Наряду с политической властью, в современном обществе возникли крайне влиятельные группы, оспаривающие у политических деятелей право на безраздельную привилегию управления страной. Финансисты и менеджеры, ученые и инженеры, военные и деятели профсоюзов активно соучаствуют в политике, не неся при этом той ответственности, которую за нее несут политики.

Главная сила всех этих групп, в отличие от прежних времен, заключается в том, что каждая из них обладает в своей области знаниями и навыками на уровне *современной* сложной, усложняющейся и *непрозрачной* для профанов механики нынешней цивилизации. Отсюда — отчуждение масс от мощных элит и восприятие их самих как насильников и узурпаторов, а их действия как своекорыстный произвол. А так как процесс усложнения жизни идет не останавливаясь и ускоряющимися темпами, то не видно и на горизонте, как может быть разрешен этот вопрос. По сравнению с ним, проблема «демократия или диктатура» оттесняется на второй план, и во весь рост встает вопрос, как приостановить, сделать безболезненным или обратить на пользу человека и обществ процесс усложнения жизни, рост специализации и вытекающую из этого «герметизацию» групп, говорящих на разных языках, но одновременно и ответственных *совместно* за безупречную и согласованную работу огромной машины? А эта машина, поддерживаемая в своей деятельности и развитии взаимоотноженными, несогласованными и даже конкурирующими группами, наращивает меры стеснения и принуждения, приводя человека к выпадению из системы или к низведению его до роли винтика, лишённого какой-либо самостоятельности и возможности влиять не только на судьбу своей группы, своей страны, но и на свою собственную.

Плюрализм сил (как борющихся за усиление регламентации, так и борющихся против нее) неспособен *как таковой* приостановить наметившуюся тенденцию в сторону дальнейших стеснений свободы, так как каждая сторона оперирует очень вескими соображениями и аргументами.

Создание компромисса и равновесия, могущих предотвратить самые худшие последствия создавшегося положения — насилие, войны и кровавые революции, — возможно, должно быть, лишь путем:

- а) прозрачности и общедоступности информации о работе всего механизма современной цивилизации;
- б) повышения духовного и интеллектуального уровня всего населения, того уровня, который необходим для восприятия и правильной интерпретации получаемой информации.

Это — два необходимо взаимосвязанных и для пользы дела дополняющих друг друга процесса. Это — задача как для людей, создающих информацию (в самом широком понимании этого термина), так и для тех, кто или преобразует ее в общедоступную форму или же подготавливает людей к ее правильному восприятию. Как бы мы ни называли эту группу (обычно ее называют интеллигенцией, независимо от ее «классового» происхождения, или положения, или от экономического статута!), от нее, очевидно, и будет в значительной мере зависеть разрешение поставленной проблемы.

РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Поставленные выше проблемы требуют неотложных решений. Но кто их будет принимать? И в странах демократии, и в странах диктатур эти решения, как правило, принимались и принимаются правящими политическими элитами и их лидерами.

Послевоенные карта и структура мира обязаны действиям и воззрениям таких людей, как Рузвельт, Сталин, Черчилль, де Голль. Их дело завершали Аденauer, Тито, Мао Цзэ-дун, Хрущев. Все — люди преклонного возраста. Более молодые люди значительно реже становятся руководителями стран и правительств (Джон Кеннеди — редкое исключение!); кроме того, они или быстро сменяются на ведущих постах или, преуспев в своей деятельности и приобретя опыт, остаются на этих постах и при этом, естественно, стареют.

Такое положение мало кого удивляет: здравый смысл подсказывает, что умение руководить сложной современной политикой государств не приобретается на школьной скамье, а требует долголетней практики, опыта и зрелой мудрости.

Но именно это и вызывает конфликт между престарелыми руководителями и руководимыми ими людьми более молодого возраста, составляющими большинство населения даже в передовых странах.

Разрыв между поколениями существовал и ранее, но сейчас он приобрел особенно острые формы по многим причинам. Одна из них — так называемая акселерация, т. е. более быстрое, чем прежде, созревание и возмужание юношества, что и привело в ряде стран к снижению избирательного возраста до восемнадцати лет. Другая причина — увеличение средней продолжительности жизни благодаря успехам медицины. Люди стали входить в жизнь раньше и уходить из нее позже. Это привело к растяжению возрастной пирамиды по вертикали, к сосуществованию во времени крупных массивов людей очень разных возрастов. Причем пожилые люди, пользуясь поддерживаемым медициной здоровьем, накопленными знаниями и опытом, не спешат уступить место молодым.

Молодежь такое положение раздражает, она рвется занять более значительные и ответственные посты. Причем ее претензии отнюдь не необоснованы, так как сейчас наблюдается неизвестное до сих пор в такой мере явление, — быстрое устарение знаний. Теперь каждые три-пять лет наука создает так много нового, а техника так быстро это новое усовершенствует дальше, что прежние знания и навыки девальвируются с необычайной быстротой.

Все это усугубляется крайне быстрым изменением окружающей среды, вызванным стремительной урбанизацией и технизацией. Каждое поколение вступает в жизнь в условиях, которые были еще неведомы их отцам, не говоря уже о дедах. Отсюда — разное отношение к новшествам: для одних они еще чужды и непривычны, для других — нечто само собой разумеющееся. Поэтому два поколения, разделенные какими-нибудь двадцатью годами, живут в разных мирах, по-разному психологически воспринимаемых. Стиль жизни, характер получаемых знаний, открывающаяся специфика путей продвижения для людей этих двух поколений разительно несхожи. Люди этих поколений говорят на разных языках, живут разными интересами, ставят себе разные цели. Они относятся к разным культурам, проживая хронологически в одной и той же эпохе. Между ними — пропасть взаимного непонимания, и чем быстрее течет социальное время, чем скорее внедряются в жизнь различные технические усовершенствования, меняющие условия существования и обитания, чем скорее рушатся прежние структуры и представления, тем труднее становится старшим приспособляться к калейдоскопу бурных перемен и тем глубже становится водораздел между поколениями.

Всё вышеописанное, даже если оно представлено в несколько преувеличенном и заостренном виде, — отличительная черта нашей эпохи.

Раньше жизнь общества и народов* покоилась на некоем твердом фундаменте традиций, обычаев, устойчивых институтов, привычных форм общежития и поведения. Устойчивость эту нарушали лишь войны и революции. Сейчас этот фундамент разрушается и рассыпается на глазах не в силу spectacularных потрясений, а в силу эрозии временем, набирающим всё большую скорость. Для того, чтобы привести к осязаемым результатам, эрозия эта нуждалась когда-то в тысячелетиях, затем — в столетиях, еще недавно — в десятилетиях. Сейчас дуновение ветра времени превратилось в шторм.

Всё это имеет прямое отношение к обсуждаемому вопросу. Какими идеалами будут руководствоваться поколения, которым придется жить в мире, подготавливаемом сегодняшними решениями? Какие цели эти поколения будут себе ставить и как будут относиться к оставленному им наследству?

СУДЬБА ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

И тут можно себе представить самые мрачные перспективы. Многие наблюдатели отмечают ненависть современной молодежи к существующему «истеблишменту», одержимость пафосом разрушения, паразитическое отношение как к естественной, так, в особенности, и к искусственной окружающей природе, т. е. к современной технической цивилизации. Традиционные ценности при этом не только отвергаются, но подвергаются презрению и осмеянию. Легко себе представить, к чему могут привести подобные настроения: к застою, хаосу, а затем и к крушению культуры и цивилизации. Эти мрачные перспективы нашли свое

* Речь идет в основном о народах, создавших современную техническую цивилизацию.

отражение во многих литературных антиутопиях последнего времени (от Уэллса и Хаксли до Оруэлла, Брэдбери и Стругацких), а формы физического самоуничтожения человечества достаточно убедительно описаны современными военными специалистами.

Но неизбежен ли такой исход человеческой истории? Ведь само предвосхищение апокалипсической катастрофы может послужить (и, может быть, уже служит) тормозом, задерживающим скольжение по опасному пути. Увы, инстинкт самосохранения, столь сильный у отдельных индивидуумов, часто не срабатывает в случае коллективов.

Более радужные надежды можно еще связать с обстоятельством совсем иного рода, а именно, с неминуемой судьбой экспоненциальных кривых наблюдаемого ныне роста. Бег времени в прежнем направлении не может не приостановиться. Действительно, дальнейшая экстраполяция ведет к абсурдным результатам. Так, через какие-нибудь сто или сто с лишним лет все жители Земли должны были бы стать учеными при почти полном исчезновении рабочих и земледельцев; площадь городов должна была бы занять всю поверхность не только суши, но и подводных пространств; сама земная толща должна была бы полностью быть использована как сырье для промышленного производства и т. п. Поэтому совершенно очевидно, что нынешние экспоненциальные кривые должны будут приостановить свой стремительный бег и перейти на более плавное, если не регрессивное протекание. А это вызовет новый шок, едва ли менее болезненный, чем тот, который мы переживаем сейчас.

И тогда должны будут восторжествовать такие человеческие, ныне пренебрегаемые качества, как бережливость, скромность, самоограничение и самодисциплина, удовлетворенность качеством, а не количеством, бережное отношение к дарам природы и к человеческому труду, личная и гражданская ответ-

ственность, подлинное товарищество и солидарность в рамках коллектива, уважение к знаниям, опыту и мудрости старших, т. е. все те качества, которые входили в разрушающийся и разрушаемый ныне фундамент культуры. И это — не в силу проповеди и заклинаний, а в силу объективных закономерностей, в силу ограниченных ресурсов космического корабля, называемого Землей.

Но приведенные выше качества не самостоятельны, а производны. Они могут произрастать лишь на почве основных ценностей:

Добра и справедливости не как едва терпимой роскоши, которой можно и пренебречь ради эффективности экономического механизма, а как основ социальности и правопорядка;

Истины как цели и самооценности, а не всего лишь средства выжать из природы всё необходимое для увеличения комфорта и материального благополучия;

Красоты — не как товара массового потребления, а как жизненной необходимости, без удовлетворения которой жизнь темна и безрадостна.

Реализация всех этих величайших ценностей возможна, однако, лишь в условиях свободы. Без этого добро превращается в лицемерие, истина — в догму, а красота — в социальный заказ. В условиях неволи, под пятой насилия, все они превращаются в свою противоположность — во зло, ложь, безобразие.

Человек — конечный продукт эволюции живого. Выращивая это изумительное создание, Природа пользовалась свойственными и имманентными ей железными законами необходимости, но оставляла и щель для прихоти случая. Он породил мутации — источник разнообразия и развития.

Сейчас человек и создаваемое им общество переняли от Природы эстафету. Загоняя природу в угол парков отдыха и искусственных насаждений, человек

возложил на себя заботу о своем собственном дальнейшем развитии.

Но может ли он, следуя примеру Природы, оставить ту же роль для свободы мутаций? Природа была слишком расточительной в использовании такой свободы, она породила бесчисленное количество обреченных на гибель экземпляров. Человек должен сделать следующий шаг в этом отношении, заменив свободу своеволия и произвола свободой служения и ответственности.

Такая свобода, вместе с возрожденными на новом витке исторической спирали традиционными ценностями, и станет, надеемся, основой общества будущего.

ОТ РЕДАКЦИИ: Читателям, которых интересует тема «Свобода человека и общество будущего», мы хотели бы рекомендовать, помимо основных трудов опубликованных выше авторов (см. их биографические справки), ряд произведений, темы которых тесно связаны с проблемой, поставленной на обсуждение, а именно:

С. А. Левицкий. «Трагедия свободы». Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1958; П. Тейяр де Шарден. «Феномен человека». Изд-во «Прогресс», Москва, 1965; Dennis G a b o r. «Inventing the Future». Ed. Secker & Warburg, London, 1963; Jean Fourastié. «Essais de morale prospective». Ed. Denoel/ Gonthier, Paris, 1966; Erich F r o m m. «May Man Prevail?» Ed. Doubleday & Co., New York, 1961; Jacques M o n o d. «Le hasard et la nécessité». Ed. du Seuil, Paris, 1970; Aurelio Peccei. «Quale Futuro?» Ed. A. Mondadori, Milano, 1974; Fred L. Polak. «Towards the Goal of Goals» (in «Mankind 2000»). Ed. Allen & Unwin, London, 1969; Jean-Francois Revel. «La tentation totalitaire». Ed. Robert Laffont, Paris, 1976; P-H. Simon. «Question aux savants». Ed. du Seuil, Paris, 1969; Alvin Toffler. «Future Shock». Ed. Random House, New York, 1970.

История развития советской социологии

Подлинная история научного направления — это история, которая может быть прослежена лишь от учителя к ученикам, становящимся затем учителями последующих учеников. В этом смысле социологи России являют собой весьма мозаичный «конгломерат», в котором представлен целый букет научных сотрудников. Условно их можно разбить на следующие типы.

Тип первый, который я взял бы на себя смелость назвать «истинными социологами». Это, безусловно, одаренные, преданные — до отречения от себя — науке люди, видящие в ней смысл и содержание своей жизни. Ими и создавалась советская социология. Они без энтузиазма участвуют в обязательных общественно-партийных мероприятиях, неприятны начальству: оно боится их таланта, ненавидит за принципиальность. Это — ученые-подвижники, беззащитные перед бюрократией, но полные собственного достоинства, независимые и самостоятельные в научном поиске. Они рано становятся седыми, нервными, но редко поступаются своими убеждениями или принципами. Щепетильные и придирчивые в работе, они обычно добры, неохотно соглашаются быть руководителями. Таких в сегодняшней советской социологии немного: кто умер, кто, разуверившись в теоретических и практических возможностях избранной им науки в условиях советского режима, ушел в глухие исследования по истории философии. Но без них социология зачахла бы и выродилась. Эти люди — ее надежда и совесть.

Представителей *второго типа* условно назовем

Окончание. См. начало в «Гранях» № 102. — Ред.

«мастеровыми социологии». Добросовестные мастеровые науки, они пытливы, трудолюбивы, усердны, но тяжело входят в творческую работу; делая ее основательно и аккуратно, приходят зачастую к научным открытиям; недостаток их эрудиции компенсируется целеустремленностью. Они неудобны для начальства из-за своей прямооты и стремления к справедливости. Редко кому из них (ценой больших усилий) удается в зрелом возрасте «остепениться». Что же касается «большой науки», то она для них — на крепком замке.

Третий тип — это, по-видимому, социологи, руководящиеся «модой», — самые разнообразные люди, и способные, и заурядные. Как правило, самолюбивые, тщеславные, прибитые к берегам социологии скорее честолюбием, чем интересом к науке. Как организаторы они склонны к компромиссам и сделкам с совестью, как ученые — они скорее дилетанты и популяризаторы.

Четвертый тип попытаемся охарактеризовать в качестве «организаторов» от социологии. В прошлом — профсоюзные, комсомольские и прочие активисты, не сделавшие ни общественной, ни государственной карьеры и перекочевавшие в науку в расчете на то, что здесь смогут проявить свои организаторские способности. Они охотнее всего занимаются околосоциологической работой — общественной, издательской, функционируя лишь как организаторы. Эти люди с холуйскими наклонностями, лишены способностей, живут за счет угодничества, изворотливости и рвения в выполнении поручений начальства. Если у них есть протекция, они не без труда кончают аспирантуру и жадно устремляются на руководящие должности. Если же нет высокого покровителя, их удел — оставаться подручными, на всё готовыми: выступить, оклеветать, оправдать, провести мероприятие. За это они время от времени получают подачки и к старости

достигают стабильного положения в обществе. Отлично ориентируясь в данной ситуации, эти люди неспособны ни к какому научному творчеству; свое бесплодие компенсируют властью и высокомерием.

Пятый тип, несомненно, социологи «от партии» — ответственные партийные работники, попавшие в немилость и перемещенные «на фронт укрепления» социологии. Используя свое высокое положение, например, директора (или замдиректора), они становятся соавторами ученых, занимающихся важными исследованиями, внося свое имя в авторский коллектив. Такие добиваются ученых степеней и званий. Если они — протеже видного партийного босса, то протаскивают в социологию его идеи (если таковые у него вообще имеются); из научной же социологической среды к боссу несут кучу докладных записок, рекомендаций и предложений.

Эти люди определяют не только положение социологии сегодня, но зачастую и ее уровень. Подбирая соответствующее себе окружение — дельцов от науки, без чести и принципов, — они создают обстановку, болезненно чувствительную для настоящих ученых.

Трудность понимания развития советской социологии в том и заключается, что в разные ее периоды преобладающее влияние оказывали на нее различные типы ученых.

У истоков социологии, когда занятия социальными исследованиями требовали известного мужества и определенного риска, тон в социологии задавали ученые первого и второго типов. Назову лишь некоторых из них: И. Кон, В. Ядов.

Когда же пришло время «стричь купоны», перед социологами была поставлена особая задача — восславить режим; и тысячи «флюгеров» заскрипели перьями, «выползли» на поверхность научные сотрудники третьего и четвертого типов; одни — по долгу служ-

бы, другие — из желания выжать из благодатной ситуации личные блага.

Но в науке ни один, ни даже несколько человек не в состоянии обусловить ее характер, поэтому развитие социологии в СССР в шестидесятых годах было похоже не на спокойную реку, а скорее на бурный поток, в котором схватывались в жарком споре и сталкивались в непримиримой вражде представители различных течений и направлений.

Осипов старался с помощью Константинова и подбrevшего Федосеева укрощенную науку ввести в партийные кабинеты: в каждом обкоме, горкоме, райкоме заполучить людей, которые специализировались бы по проблемам социологии, работали бы по единой унифицированной методике, организовывая и проводя исследования по заказам партийных органов.

Тогда-то в Советскую социологическую ассоциацию (сокращенно — ССА) в качестве почетных членов были приняты видные государственные и партийные чиновники, секретари ЦК, министры, редакторы газет.

Другие социологи — Ю. Левада, В. Шубкин, Т. Заславская — ратовали за создание социологических лабораторий на предприятиях, организовывали группы, работавшие на хозрасчете. Читали лекции, на которые собиралось огромное количество интересующихся.

Люди видели в социологе врача, призванного лечить болезни общества. Преодолеть недостатки общественного организма при помощи социологического анализа в те времена казалось еще возможным. И это стремление обращало в «социологическую веру» многих ученых. Такая новая возможность служения людям была причиной великой популярности социологических исследований: сотни, тысячи людей проявляли готовность прийти на помощь социологам. Новые книги по социологии становились бестселлерами, моментально исчезая с полок магазинов.

К концу шестидесятых годов ученые-социологи, вопреки партийному руководству и через его голову, стремятся войти в контакт с человеком; к этому времени собирается богатейший фактический материал, например, о положении и проблемах рабочих. Впервые был выявлен и стал достоянием общественности широкий комплекс вопросов, связанных с неравными правами в области получения образования для молодежи из различных социальных групп. Исследования семьи и быта зафиксировали сложное и тяжелое положение работающей женщины. Был разрушен миф о возникновении и становлении нового облика человека. Глубокая нравственная неудовлетворенность, гражданственная ущербность, общественная неполноценность — такими качествами, вопреки официальным утверждениям, обладал человек социалистического общества согласно материалам социологических опросов.

Это, разумеется, не означает, что в тот период не проводились и рекламные псевдонаучные исследования, на основе которых расцветал *«прекрасный облик гармонической личности»*. Типы ученых, охарактеризованных нами в третьей, четвертой и пятой группах, искали выход своему тщеславию, а недостаток таланта вполне компенсировался политической злободневностью. И появились надуманные опросы — искусная смесь болезненного воображения и конъюнктуры. Один из наиболее характерных из них был проведен Институтом общественного мнения при редакции газеты «Комсомольская правда». Тысячи юношей и девушек откликнулись на анкету газеты «Что вы думаете о своем поколении?». Их исповедь — впечатляющий и волнующий рассказ о том, чем живет молодежь в России.

Однако тщетно вы будете искать правдивого анализа идеалов, интересов и запросов молодежи, если обратитесь к книге Грушина и Чикина «Исповедь поколения», обобщивших это социологическое исследо-

вание. В книге нет подлинных дум и реальных стремлений молодежи. Из 17.000 опрошенных больше половины не получили возможности высказаться на страницах книги, ибо их настроения и взгляды не соответствовали цели, которой задались авторы: показать человека будущего как личность социалистического общества. Уж слишком много нигилизма и отчаяния было в письмах молодежи, полученных редакцией.

Это вынужден был признать один из руководителей исследования профессор Б. Грушин, горестно заявивший на совещании в отделе пропаганды ЦК КПСС, что у него не одна, а две книги: одна совершенно антисоветская, просится в буржуазные издания, другая — с трудом ложится в схемы: прочертить контуры идеальной личности.

Какая же в действительности она, советская молодежь, которая «написала» антисоветскую книгу и никак не желала уместиться в модель, скроенную для нее партией? Чем живет, к чему стремится, что ищет?¹

Прежде всего, понятие «советская молодежь» есть не более чем абстракция: молодежь городская непохожа на сельскую, столичная — на провинциальную, научная — на рабочую; так что любое обобщение условно и лишь в ограниченной мере приближается к действительности.

Есть в молодежи, несомненно, и здоровые черты: патриотизм, природная любознательность, жадность к знаниям. Но существуют и развиваются они не благодаря коммунистическим идеалам, а вопреки им, и тем сильнее и ярче, чем давление коммунистических штампов и воспитания слабее.

Что же касается недостатков молодежи, то они вполне спродуцированы советской системой. Это — слабое развитие этических ценностей, разобщенность, полное незнание действительности, неудовлетворенность жизнью (бытом, работой), недисциплинирован-

ность. Молодежи присуще неверие в будущее, в возможность прогресса. Все эти черты — результат социальной фальши, психологического протеста против подневольной жизни. И если что-то хорошее и вызвала советская власть в сознании молодого поколения, то это — отсутствие страха перед властью, в чем, я полагаю, и есть залог его духовного возрождения.

Примечательно, что власти не только потребовали от Грушина представить им подробный и по-настоящему объективный анализ настроений советской молодежи, но и размножили его с грифом «Секретно. Для служебного пользования». При этом было предложено, где только возможно, называть имена и районы страны, в которых более всего была сконцентрирована бунтующая молодежь. Видно, много было потом у политической полиции хлопот. Мне известно лишь, что Грушин не раз вызывался в КГБ для отчета и объяснений, а возможно, и для консультаций и помощи.

Такова судьба почти всех социологических исследований: дежурные коммунистические славословия выносятся на страницы прессы, объективный же анализ — в хранилище властей для осведомленности и оргвыводов.

Советские ученые-социологи хорошо это знают и стараются, по возможности, проводить анонимные исследования, чтобы не подставить под удар людей, им доверившихся. Но часто каждая анкета тайно шифруется и снабжается определенным номером, а секретная инструкция требует от проводящего интервью записывать все возможные данные об опрашиваемых.

В 1968 г. в стране значительно увеличилось количество венерических заболеваний, и социологам А. Харчеву и С. Голоду было предложено провести зондаж проблемы семьи и межполовых отношений (заказ поступил непосредственно из КГБ², исследование было абсолютно закрытым).

Весьма интересна и поучительна сама история исследования. С самого начала она была непохожа на судьбу многих других проектов. Обычно каждый проект утверждается на Ученом совете института по представлению соответствующих отделов. Там же рассматривается смета, обсуждается и утверждается коллектив ученых для проведения исследования, определяются сроки исполнения и руководитель.

Однако с данным проектом было иначе. Формально он был — от имени отдела социальных исследований Института философии Академии наук СССР. В действительности же Институт философии имел к нему лишь номинальное отношение; каждая кандидатура тщательно обсуждалась в исследовательском отделе КГБ и утверждалась отделом науки ЦК КПСС. Среди тех, кто проводил исследование, были ученые, не работавшие в системе Института философии: А. Харчев был заведующим кафедрой философии Академии наук СССР в Ленинграде, Игорь Кон работал в Ленинградском университете, Т. Самсонова — доцент Московского университета и т. д. Денежные фонды на это исследование были специально выделены президиумом Академии наук и не включались в смету расходов Института философии. Анализ, систематизация, версификация материалов исследования проводились лишь в исследовательском отделе КГБ, минуя Ученый совет, а также представлялись в отдел науки ЦК КПСС. Даже тогда, когда понадобилось обобщить результаты исследования, они не были представлены на Ученый совет, а обсуждались сначала дирекцией Института философии, а потом дирекцией Института конкретных социальных исследований, к этому времени созданного. Точно так же, без санкций Ученого совета, но от его имени, была рекомендована к изданию брошюра с грифом «Секретно», посвященная анализу проблем проституции в СССР (тираж книги — 70 экземпляров).

Сама же работа группы происходила следующим образом: группа сотрудников-социологов была вызвана в КГБ; ей было предложено ознакомиться со статистическими данными, связанными с распространением проституции в Ленинградской, Таллинской, Одесской и Киевской областях, а также в Сочи, Ялте и Паланге.

Далее, по заказу научно-исследовательского отдела КГБ, группа представила проект-смету комплексного исследования проблем проституции для начала в одной Ленинградской области, а затем и в других городах: Москве, Ленинграде, Одессе, Таллине, Баку, Кишиневе и Новосибирске.

Картина оказалась безрадостной: в Москве — 78 процентов, в Ленинграде — 81, в Одессе — 76, в Таллине — 91 процент выпускниц школ и студенток первых и вторых курсов невестницы, нередко имеют любовников, беременеют; каждая вторая из опрошенных женщин изменяет мужу. И всё это происходит в стране, где юноши и девушки воспитываются в духе старых сентиментальных традиций и на примерах романтической любви из классической литературы, в стране, где общественная нравственность предаёт анафеме свободную любовь, а народно-мужицкая традиция определяет незаконную интимную близость ещё лаконичнее — как проституцию.

Социологи попытались осмыслить причины. Оказалось, что советский человек живет в глубоком противоречии между желаниями и возможностями. Искусство, литература, школа воспитывают любовь к прекрасному, зовут к комфорту, к счастью, а жизнь обрекает на тяжелую работу, безрадостный семейный быт, постоянный недостаток средств, — то есть на серое, суровое, монотонное существование.

Власти, ознакомившись с результатами исследования, сделали единственно возможный для себя вывод — по студенческим и рабочим общежитиям, по

гостиничным номерам прокатились облавы, усиленные наряды милиции были поставлены у станций метро, дружинники брошены в рестораны.

Социальные причины проституции остались неза тронутыми, и она, затаясь в подполье, стала еще более отчаянной; количество бракоразводных процессов не уменьшается, а в абсолютных цифрах даже увеличивается, в 1970 году 12 процентов молодых женщин состояли на учете в венерических диспансерах³.

Так сводятся на нет результаты большого, важного и нужного труда социологов в СССР. Если же их заставляют лицемерить, тогда социология теряет смысл и всякую научную себестоимость; в третьем случае, — как я упоминал выше, их работы и обследования становятся достоянием узкого круга доверенных лиц — политической полиции или партийного руководства, засекречиваются, не дойдя до того, кому они были адресованы и для кого предназначены — до человека.

Однако когда речь идет о благополучии режима или милитаризации, картина резко меняется: коммунисты шепетильны и требовательны, если кем или чем-либо затрагивается их власть и благополучие. В таком случае дорога к научной работе закрывается перед политическими лакировщиками, призываются и созываются *подлинные* исследователи, даже если их благонадежность и вызывает сомнения. Результаты исследования немедленно сказываются на принимаемых решениях.

Нечто подобное произошло, когда перед социологами была поставлена задача исследовать причины преступности. Для этой цели специальной группе социологов Института по изучению причин преступности были выделены неограниченные средства, предоставлены широкие полномочия и совершенно уникальные экспериментальные базы — 42 колонии и тюрьмы. И что особенно важно — спущены были сведения

чрезвычайной секретности: сколько и каких преступлений совершается каждую секунду, час, день, год. Вот некоторые из них: четыре миллиона преступлений — в год, каждая секунда — ограбление, воровство, каждые десять-тридцать минут — изнасилование, каждые пять минут — убийство, каждый месяц — четыре тысячи судебных процессов, в год — сто двадцать тысяч осужденных⁴. И эти преступления растут из года в год. В 1960 году их было три миллиона, в 1968 — четыре миллиона, в 1972 году — пять миллионов⁵.

Интересно признание генерального прокурора СССР Руденко: в ответ на вопрос социологов (на совещании в Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1972 году), почему в Советском Союзе не публикуются сведения о понижении преступности, он ответил, что публиковали бы с удовольствием, если бы преступность уменьшалась.

Суждения, вытекающие из социологических исследований, никак не укладывались в идеологические схемы партии. Оказалось, что мотивы преступлений — следующие: низкий реальный жизненный уровень, слабые законы об уголовной ответственности, коррупция и торговая порука в следственных органах; характер же и кривая роста преступлений — организованные ограбления сберкасс, массовая скупка и продажа золота, валютные операции, хищения произведений искусства — совсем не свидетельствуют о том, что они являются «пережитками», а напротив (это особенно относится к преступлениям хозяйственным) — они программируются системой советского общества. И несмотря на всё это, рекомендации социологов *были приняты властями без возражений*, без обычного в таких случаях пропагандистского шума, оперативно и спокойно, и нашли свое отражение в директивах и даже законодательных решениях правительства.

Такая же деловая и спокойная атмосфера царит в

социологических центрах Министерства обороны — при Главпуре (руководитель — полковник В. Коноплев), при политуправлениях флота (общее руководство — контр-адмирал В. Шеляг).

В 1969 г. социологи Министерства обороны получили заказ исследовать причины непопулярности службы в армии. Выяснилось: частые перемещения, неудовлетворительная зарплата, недостаточно быстрое продвижение по службе. Не успели заключения социологов лечь на стол министра обороны, как правительство, изыскав средства, ко всеобщей радости армии, повысило оклады офицеров на двадцать процентов и пенсии — на двенадцать. Кроме того, была увеличена продолжительность отпусков, дипломы всех высших военных учебных заведений были приравнены к университетским, введена новая, более модная форма, были модифицированы специальные поселки, в которых расквартировывались воинские части.

Совершенно особое задание было дано социологам в 1971 году — исследовать социальные проблемы войны⁶. Насколько существовавшие идеологические стереотипы не соответствовали полученным социологами обобщениям, свидетельствуют приводимые здесь некоторые их заключения.

Современный военный конфликт нельзя рассматривать как войну, ибо ракетно-ядерное сражение предполагает:

— отсутствие победителей и побежденных, вместо этого — взаимное уничтожение и разрушение;

— решающее значение приобретает не армия, а научно-технические силы, стираются различия между кадровыми воинскими частями и гражданским населением;

— характерный признак прошлых войн — значительный промежуток времени, дающий возможность организовать союзы, менять стратегию и тактику;

исход современного конфликта будет решен в считанные минуты;

— обычная война содействует формированию коллектива, современная — сводит на нет индивидуальную храбрость, сопротивляемость, приводит к пассивности.

Исследование проводилось под руководством В. Коноплева и вышло за рамки объективной констатации фактов. В нем четко определилась критическая направленность против принятой в военных кругах СССР доктрины «гонки вооружения», исходившей из американской — «сдерживания»⁷.

Вот некоторые аргументы, приводимые В. Коноплевым:

— если исходить из принципа противостояния СССР — США, очевидно, что обоюдная опасность будет постоянно способствовать гонке вооружения, а следовательно, и планированию удара возмездия;

— из теории игры вытекает, что первая акция приведет к успеху, вне зависимости от последующих контрмер. И как результат — каждая сторона будет увеличивать размеры и темпы вооружения, что с неизбежностью породит такие явления, как блеф, обман и прочие факторы, которые, выйдя из-под контроля, перечеркнут шансы на мир;

— существующее равновесие — хрупкое равновесие страха, ибо игнорирует столь реальный фактор, как релятивность этических норм, а политические решения часто выносятся без достаточного ознакомления с расстановкой сил и никак не стремятся к сохранению спокойствия.

Помимо указанных недостатков, доктрина «сдерживания» порождает в своей аргументации чисто лингвистические двусмысленности, ибо под понятием «контроль над разоружением» подразумевается «контроль над производством вооружения».

Под сомнение была поставлена и уверенность

военных специалистов в том, что возможно практически реализовать меры по ограничению человеческих жертв в ядерном конфликте с тем, чтобы продолжать военную игру далее, до конца. Социологами была поставлена под сомнение возможность Генерального штаба точно определить характер нападения и комплекс ответных мероприятий.

Подобной критики, разрушительной и глубокой, хотя и косвенной, «упакованной» в систему глубоко-мысленных научных дефиниций, советская военная доктрина до сих пор не знала. И как следствие этого — начались бесконечные совещания на самых разных уровнях, прошедшие в 1971-72 годах: от коллегии Министерства обороны до секретариата ЦК КПСС.

Примечательно, что несмотря на то, что выводы социологов взрывали советскую военную доктрину, которая поглотила астрономическое количество материальных ценностей и на которой строилась глобальная политика правительства, никто не пытался бросить обвинения ученым в «субъективизме», в «отсутствии партийной принципиальности». Была создана специальная военно-партийно-правительственная комиссия для изучения концепций Генерального штаба. А одно из решений правительства — прекратить разработку «чистой атомной бомбы» — непосредственно вытекало из мнения социологов, считавших, что СССР должен подчинять военную тактику политике.

В настоящее время социологическая группа при Министерстве обороны приступила к изучению проблем, связанных с изучением причин, способных побудить Соединенные Штаты Америки нанести ракетно-ядерный удар, и вопросов, связанных с восстановлением экономики после возможного атомного конфликта.

Итак, рассматривая состояние социологии в СССР в шестидесятых годах, мы видим, что реальные результаты проведенных исследований отнюдь не всегда

совпадали с целями, непосредственно поставленными заказчиками — советскими властями. Эти результаты давали определенные знания о состоянии и проблемах советского общества, которые скорее устраивали отрицательно относящихся к социализму, чем его апологетов. Кроме того, само социологическое движение, захватывая огромные пласты интеллигенции, грозило выйти из-под полицейского контроля.

В этой связи становится понятным стремление партийного руководства направить исследовательскую деятельность социологов в более безопасное, а главное, тщательно регламентированное русло: в 1968 г. Политбюро ЦК КПСС принимает решение создать в Академии наук СССР Институт конкретных социальных исследований.

«На институт возлагаются обязанности координирующего методического центра всех исследований, которые проводятся многочисленными лабораториями и группами во многих республиках, областях и городах страны» (газета «Известия», от 8 июня 1968 г.).

Институту были даны только конкретные функции. Кроме того: он был назван Институтом конкретных социальных исследований, а не социологии. В этом был заложен глубокий подтекст: статус марксистской философии как универсальной науки об обществе оставался незыблемым. Такова была видимость, однако трансцендентная сущность лежала еще глубже. Социология была сведена до уровня социометрии, до утилитарных технических приемов социального обследования. Из нее изгонялось самое право на социальное конструирование и прогнозирование. Данное противоречие не могло оставаться постоянным — оно создавало переходное положение: либо надо было двигаться назад к историческому материализму, несколько приукрашенному и подновленному эмпирическими исследованиями (и тогда неизбежно должна была снова возродиться реабилитация догма-

тизма в рассмотрении социальных процессов), либо в борьбе против марксистской философии надо было идти к научному познанию общества вплоть до его преобразования.

Эта двойственность отразится на драматической истории советской социологии в семидесятых годах. А пока что ученые-социологи, как будто подходя к цели — организации академического института, — оказались сброшенными с академического пьедестала.

Таковы законы социалистического ринга — игра идет без правил.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Автор данной статьи как член правления Советской социологической ассоциации и член редколлегии «Информационного бюллетеня» ССА имел возможность ознакомиться с тысячами ответов юношей и девушек, которые из-за цензурных соображений невозможно было оставить в книге «Исповедь поколения».

² Источник — архив автора.

³ Сведения взяты из статьи лекторов ЦК КПСС Клепача Н. Я., Шишкова Ю. В. «Некоторые вопросы научного подхода к организационной, лекционной работе», разосланной по партийным комитетам г. Москвы в феврале 1972 г.

⁴ Данные криминальной статистики взяты из выступления зампреда КГБ СССР Цвигуна на XXIV съезде КПСС в 1972 году.

⁵ Данные выводы взяты из комплексного изучения социальных основ правонарушения, проводимого по заданию ЦК КПСС и прокуратуры СССР группой сотрудников Института по изучению причин преступности под руководством профессора В. Кудрявцева в 1969, 1971, 1972 годах.

⁶ Исследование проводило Военное отделение ССА под руководством полковника В. Коноплева. Отчет обсуждался на Военном отделении ССА в феврале 1970 г. Проект назывался «Социальные проблемы войны».

⁷ Исследование проводилось Военным отделением в 1971-72 гг. ССА под руководством контр-адмирала В. Шеляга в Военном отделе ЦК КПСС, в апреле 1972 г.

Библиография*

Методология социологического исследования

Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969 г.

Кон И. С. Позитивизм в социологии. Исторический очерк. Л., 1964 г.

Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. Л., 1967 г.

«Методика и техника конкретно-социологических исследований». Киев, 1968 г.

«Опыт и методика конкретных социологических исследований». М., 1968 г.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971 г.

«Социология в СССР» (2 тома). М., 1966 г.

«Социологические исследования. Вопросы методологии и методики». Новосибирск, 1966 г.

«Социология и идеология». М., 1969 г.

«Социология сегодня. Проблемы и перспективы». М., 1965 г.

«Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», № 1-39, 1968-71 гг.

«Теория и методы». «Социальные исследования», вып. 5. М., 1970 г.

Шляпентох В. Социология для всех. Некоторые проблемы, результаты, методы. М., 1970 г.

Теория и предмет социологии

Гвишиани Д. М. Исторический материализм и частные социологические исследования. «Вопросы философии», 1965 г., № 5.

Ковалев А. М. О соотношении исторического материализма, научного коммунизма и конкретных исследований». «Вестник МГУ. Философия», 1969 г., № 2.

«Ленин и социология». «Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», 1970 г., № 42.

«Маркс и социология». «Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», 1969 г., № 3.

* Библиография относится ко всему труду автора, а не только к помещенному в «Гранях» отрывку. Редакция считает важным опубликовать ее всю, как нечто целое.

*Теоретико-методологические проблемы
изучения специфических явлений и процессов*

Арутюнян Ю. В. Конкретно-социологические исследования национальных отношений. «Вопросы философии», 1969 г., № 12.

Беляев Э. В. Некоторые методологические принципы исследования человеческих организаций. «Проблемы методологии социального исследования», Л., 1970 г.

Бляхман Л. С., Здравомыслов А. Г., Шкаратан О. И. Движение рабочей силы на промышленных предприятиях, М., 1965 г.

«Быт, время, демография: из истории советской социологии». «Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», 1968, № 15, 18.

Валуева Л. П. Личность и ее социальная деятельность. «Очерки методологии познания социальных явлений», М., 1970 г.

Вахеметса А. Д., Плотников С. Н. Человек и искусство (Проблемы конкретно-социологического исследования искусства), М., 1968 г.

Волков Г. Н. Социология науки. Очерки. М., 1968 г.

Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения. М., 1967 г.

Грушин Б. А. Свободное время. Актуальные проблемы. М., 1967 г.

Замошкин Ю. А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность. Социологический анализ некоторых тенденций в общественной психологии США. М., 1966 г.

Зворыкин А. А. Наука, труд и производство. М., 1965 г.

Зворыкин А. А. Наука, общество, человек. «Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», 1969 г., № 23.

Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. Л., 1964 г.

Келле В. Ж. Некоторые аспекты и уровни в теории социологии науки. М., 1968 г.

Кикнадзе А. А. Потребности как фактор поведения человека. «Вопросы философии», 1965 г., № 12.

Коган М. С. К построению философской теории личности. «Философские науки», 1971 г., № 6.

Кон И. С. Социология личности. М., 1967 г.

Левыкин И. Некоторые методологические проблемы изучения психологии крестьянства. Орел, 1970 г.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. Л., 1971 г.

«Миграция сельского населения». М., 1970 г.

Оллак П. Г. О нормативном и социологическом подходах к изучению потребностей населения. «Социологические исследования. Вопросы методологии и методики». Новосибирск, 1966 г.

Просса Р. Народонаселение и его изучение: демографический анализ, М., 1966 г.

Пригожин А. И. Проблемы бюджета времени трудящихся. «Социальные исследования», вып. 5, М., 1970 г.

«Проблемы труда и личности». «Социальные исследования», вып. 3, М., 1970 г.

Пруденский Г. А. Время и труд. М., 1965 г.

Руткевич М. Н., Филиппов Ф. Р. Социальные перемещения. М., 1970 г.

Смулевич Б. Я. Социальные проблемы труда и производства. Советско-польское сравнительное исследование. М., 1970 г.

Урланис Б. Ц. История одного поколения (социально-демографический очерк). М., 1963 г.

Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М., 1964 г.

Харчев А. Г., Голод С. И. Профессиональная работа женщин и семья. Л., 1971 г.

«Человек и его работа. Социологическое исследование». М., 1967 г.

Яacobсон И. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969 г.

Яхиел Н. Город и деревня. Социологические аспекты. М., 1968 г.

Методология исследования

Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход к современной науке. «Проблемы методологии системного исследования». М., 1970 г.

Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Философские проблемы исследования систем и структур. «Вопросы философии», 1970 г., № 5.

Бунге М. Причинность. М., 1962 г.

Зиновьев А. А. Об основных принципах и понятиях логики науки. «Логическая структура научного знания». М., 1965 г.

Ильенков Э. В. Проблема абстрактного и конкретного. «Вопросы философии», 1967 г., № 9.

«Логика научного исследования». М., 1965 г.

Макаревичус К. В. Место мысленного эксперимента в познании мира. М., 1971 г.

Мерзон Л. С. О некоторых спорных вопросах в освещении проблем факта науки. «Философские науки», 1971 г., № 2.

Никитин Е. П. Природа научного объяснения и современный позитивизм. «Вопросы философии», 1962 г., № 8.

Никитин Е. П. Типы научного объяснения. «Вопросы философии», 1963 г., № 10.

Орлов В. В. Пограничные науки и марксистская концепция уровней. «Философские науки», 1969 г., № 4.

«Проблемы методологии системного исследования». М., 1970 г.

Ракитов А. И. О природе эмпирического знания. «Логическая структура научного знания». М., 1965 г.

Садовский В. Н. Проблемы методологии дедуктивных теорий. «Вопросы философии», 1963 г., № 3.

Свидерский В. И. О диалектике элементов и структуры. М., 1962 г.

Швырев В. С. Проблема отношения теоретического и эмпирического знания и современный позитивизм. «Вопросы философии», 1964 г., № 2.

Штофф В. А. Роль моделей в познании. М., 1963 г.

Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М., 1964 г.

Аганбегян А. Г. Социальные исследования и планирование. «Социологические исследования. Вопросы методологии и методики». Новосибирск, 1966 г.

Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее. Современные проблемы социального прогнозирования. М., 1970 г.

Осипов Г. В. Теория и практика советской социологии. «Социальные исследования», вып. 5, М., 1970 г.

«План социального развития коллектива». М., 1968 г.

«Планирование социальных процессов на предприятии». Л., 1969 г.

Яковлев Г. С. Проблемы социального планирования. «Человек и общество», вып. VII, Л., 1970 г., вып. VIII, 1971 г.

«Проблемы социализации индивида». «Человек и общество», вып. IX, Л., 1971 г.

Сбор и обработка данных

Антипина Г. С. Изучение малых групп в социологии социальной психологии. Л., 1967 г.

Бобнева М. И. О применении социометрических методов при изучении структур сложных организаций. «Социальные исследования», вып. 5, М., 1970 г.

Водзинская В. В. Опрос как метод конкретного социологического исследования. «Проблемы научного коммунизма», вып. 2, М., 1968 г.

Волков И. П. Распределение поведенческих образцов в структурах межличностного общения. (По данным социометрических измерений). «Человек и общество», вып. IV, Л., 1969 г.

Коробейников В. С. Анализ содержания массовой коммуни-

кации (по материалам американской социологии). «Вопросы философии», 1969 г., № 4.

Куприян А. П. Методологические проблемы социального эксперимента. М., 1971 г.

Лопин Н. И. Проблема неформальной группы в индустриальной социологии. «Социальные исследования», вып. 2, М., 1968 г.

Морено Дж. Социометрия. М., 1958 г.

Ольшанский Б. В. Личность и ее социальные ценности. «Социология в СССР», т. 1, М., 1961 г.

«Проблемы контент-анализа в социологии». Новосибирск, 1970 г.

Раббот Б. С. Гносеологические проблемы социального эксперимента. «Социальные исследования», вып. 5, М., 1970 г.

Раббот Б. С. Экспериментальные методы в социальном познании. «Вопросы философии», М., 1970 г., № 3.

Рывкина Р. В. Об экспериментальном методе в социологии. «Социологические исследования». «Вопросы методологии и методики». Новосибирск, 1966 г.

Рывкина Р. В., Винокур А. В. Социальный эксперимент. Новосибирск, 1968 г.

Штофф В. А. Об особенностях модельного эксперимента. «Вопросы философии», 1963 г., № 9.

Процедуры измерения

Зайдель А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений. Л., 1967 г.

Миллс Ф. Статистические методы. М., 1968 г.

Чупров А. А. Очерки по теории статистики. М., 1959 г.

Беляев Э. В. Проблемы социологического измерения. «Вопросы философии», 1968 г., № 11.

Зайцева М. И. Методы шкалирования при измерении установок. «Социальные исследования», вып. 5, М., 1970 г.

Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М., 1967 г.

Рихтер Е. Н. О гносеологических особенностях научного измерения. «Вестник Ленинградского университета», 1966 г. № 17.

Саганенко Г. И. Эксперимент на сопоставление различных методов ранжирования качественных признаков. «Информационный бюллетень ИКСИ АН СССР», 1969 г., № 19.

Самсонов Ю. Б. Некоторые проблемы социологического измерения. «Моделирование социальных процессов», М., 1970 г.

Корреляционный анализ

Бородкин Ф. М. Корреляционный анализ в социологических исследованиях. «Количественные методы в социологии», М., 1966 г.

Журавлев Г. Т. Корреляционный анализ в социальном исследовании. «Социальные исследования», вып. 1, М., 1965 г.

Заславская Т. И. Некоторые методологические проблемы моделирования движения рабочей силы села. «Социологические исследования». Вопросы методологии и методики. Новосибирск, 1966 г.

Калмык В. А., Шляпентох В. Э. Вопросы многофакторного анализа в социологических исследованиях (на примере изучения текучести рабочей силы). «Социологические исследования». Вопросы методологии и методики. Новосибирск, 1966 г.

Калмык В. А. Многофакторная модель формирования квалификации рабочих. «Количественные методы в социологии», М., 1966 г.

Можина М. А. Многофакторная модель заработной платы рабочего. «Количественные методы в социологии». М., 1966 г.

Эмпирическая типологизация

Берус К. Теория графов и ее применение. М., 1962 г.

Бляхман Л. С., Таганов И. Н., Шкаратан О. И. Математические модели подбора и расстановки кадров. «Моделирование социальных процессов». М., 1970 г.

Выханду Л. К. Об исследовании многопризнаковых биологических систем. «Применение математических методов в биологии», т. 3, Л., 1964 г.

Гордон Л. А., Волк В. Я., Генкин С. Е., Клопов Э. Ф., Соколова С. Н. Типология сложных социальных явлений (Опыт многомерного анализа бюджета времени). «Вопросы философии», 1969, № 7.

Гордон Л. А. и др. Некоторые проблемы типологии свободного времени (опыт использования методов многомерного анализа). «Информ. бюлл. ИКСИ АН СССР», 1969 г., № 24.

Докторов Б. З. Сравнение рабочих характеристик различных методов факторного анализа при комплексном изучении человека. «Человек и общество», вып. IV, Л., 1969 г.

Заславская Т. И. Проблемы исследования и моделирования мобильности трудовых ресурсов. «Моделирование социальных процессов», М., 1970 г.

Иден М. Задачи распознавания образов и некоторые обобщения. «Распознавание образов. Исследование живых и автоматических распознающих систем». М., 1970 г.

Библиография

Средневековая восточнохристианская культура и искусство в исследовании некоторых советских авторов

Прежде чем приступить к рассмотрению вышедшего в 1975 году в Москве сборника «Древнерусское искусство. Зарубежные связи», следует сказать, что за последние годы в официальной искусствоведческой литературе в СССР намечилось невозможное ранее изучение древнерусского искусства, особенно в аспекте его связей с духовной культурой и искусством Византии.

Серьезные и совестливые авторы пытаются исходить в своих толкованиях средневекового искусства из более или менее цельного представления о культуре, впервые за многие годы фиксируя свое исследовательское внимание на подлинной религиозно-философской проблематике Средневековья. Наконец, пробилось ощущение и вкус к духовной литературе, кстати, нередко цитируемой и в названном выше сборнике. Более того, пробился, несомненно, вкус православный, восприятие восточнохристианской духовной жизни.

Безусловно, такое новое отношение к христианской культуре Средневековья есть частное проявление того общего духовного возрождения, которое стало сегодня в России своеобразным вектором всей жизни вообще. При этом поясним, что сама по себе обращенность к такому изучению культуры, которое включало бы религиозную проблематику, еще не устанавливает в корне изменившегося отношения в сторону адекватного понимания минувшей духовной культуры; ведь религиозность сознания рассматривается зачастую лишь как один из факторов средневековой культуры, и даже тогда, когда духовность православного толка в фокусе авторских рассуждений, анализ искусства, взятый сам по себе, секуляризуется и определяется в новейших понятиях и терминах.

Правда, есть и редкие исключения. Добавим еще, что бесспорной заслугой сборника, включающего двадцать пять статей по восточнохристианскому средневековому искусству, является то, что практически ни в одной из них не применяется ходовое советское сведение всей суммы культурных явлений эпохи к однозначному выводу о смене исторических формаций по Марксу, как и не дедуцируется эта сумма явлений из той же марксистской схемы. Суще-

Сборник «Древнерусское искусство. Зарубежные связи». Москва, 1975.

ственно и то, что отдельно взятый исторический факт всё меньше интересует сегодня историка искусства, а — лишь в контексте духовности изучаемой культуры; мыслительная техника его, нередко оперируя метаисторическими фактами, обнаруживает стремление исследовать глубинные пласты религиозного осмысления истории средневековым человеком.

Совершенно особое место принадлежит в этом сборнике философской статье С. С. Аверинцева «Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики», блистающей своей глубокой ученостью, исследовательской и человеческой честностью и тем особенным аверинцевским стилем-мыслью, сложно петляющим по всевозможным вертикальным и горизонтальным смысловым уровням, проникающим в отдаленные области прошлой культуры и берущим неожиданно в свой круг актуальнейшую современность, усматривая между ними различного рода ассоциативные связи и параллели.

Уже в самом названии статьи Аверинцева таится пожелание и одновременно предостережение изучающим средневековую культуру и искусство. Автор показывает, что, собственно, никакой эстетики как дифференцированной науки в Средние века не было. Многочисленные же отечественные публикации по истории эстетической мысли каждый раз извлекают насильственным образом из религиозно-жизненной почвы отдельные рассуждения и свидетельства, которые подгоняются затем под более или менее общие установки, предназначенные объяснить новоевропейскую историю.

Напротив, ход рассуждений Аверинцева наводит на предположение о необязательности выбранного человечеством пути на переходе от Средних веков к Новому времени. Автор не занимается разработкой проблем переходного периода, но сам предлагаемый им метод изучения средневековой культуры как «формы широкой феноменологии типов мировосприятия» (стр. 373), стремящийся исходить из собственных задач средневековой христианской мысли и берущий мировоззрение и жизнь как стиль, открывает в самой толще сложной средневековой культуры неиспользованные Новым временем духовные потенциалы и оборванные традиции и тенденции. При этом, автор делает несколько оговорок, а именно: он оставляет за собой право сопоставления ряда фактов различных духовных культур, в том числе и главным образом современной, не видя в этом никакого насильственного вламывания в предмет, столь характерного, в частности, для многих советских исследователей Средневековья. Дело в том, что ассоциативное сцепление фактов, а не методическое, иногда кое-что разъясняет, провоцируя «такое состояние ума, при котором мы непосредственно усматриваем нечто, до сих пор остававшееся для нас незамеченным» (стр. 375).

Вторая оговорка Аверинцева касается того, что любая философская мысль, оставаясь мыслью определенной эпохи, обладает свойством выступать за пределы той культурно-жизненной среды, которая ее «выговорила». Но это свойство выступающего за свои пределы смысла опять же ни в коей мере не говорит о подготовке Средневековьем наших проблем, а лишь о природе мысли как мысли, в которой наличествуе такое переступание, а кроме того указывает на сложную природу символики той или иной эпохи. И здесь существенно то, что как важна выговоренная, сформулированная часть содержания символа, так и совершенно необходимо осознание невыговоренного, подразумеваемого. Для автора статьи именно это «невыговоренное содержание, по-видимому, составляло едва ли не интимнейшее достояние культурного круга» (стр. 379) эпохи. И напротив, осознание исчерпанности исследовательским анализом смыслового наполнения символа характеризуется им как пресечение любого понимания и ликвидация возможности какого бы то ни было определения духовной структуры Средневековья.

Во втором разделе Аверинцев стремится выявить контуры основополагающей проблемы христианства — «бытие — благо», и в связи с этим высветить «эстетическое», которое оформилось, собственно, как таковое в качестве отдельной философской дисциплины уже вне средневековой христианской мысли, в процессе ее секуляризации. С этой целью (выявления эстетически осмысленного бытия) Аверинцев с достойным похвалы вниканием в суть предмета и тончайшей детальностью разбирает три уровня «вещи» и — соответственно этому — три подхода к ней.

Так, для греческой философской мысли бытие отождествляется с совершенством всех форм: отсюда всё, что не имеет завершенной формы, — «не-сущее». Поэтому эллинский подход к вещам связывается прежде всего с их образной структурой, эйдетикой, как ее называет Аверинцев. Интеллектуальная же позиция, занимаемая при таком уровне понимания вещи, определяется им как «усматривание», а соответствующим ярусом для нее в иерархии средневекового универсума будет сфера ангелов. Но греки уже вплотную подошли к такому осмыслению бытия, которое обнаруживается затем у христианских мыслителей. Бытийственность есть «сущее», «благо», и каждая вещь и человек хранят в себе присутствие Божественного бытия, применительно к которому возможно только созерцательное состояние ума, а высшей инстанцией универсума является Бог, вбирающий в себя «сущее». Таково переживание христианина. Здесь само бытие эстетически окрашивается.

В этой связи уместно вспомнить в качестве поясняющего примера вдохновенные послания брабантского отшельника Рейсбрука Удивительного. Он освещает свои трактаты яркими красками и находит словесным понятиям и образам удивительные уподобления,

как в одной из глав его «Зерцала вечного спасения» добродетели, которые составляют «одеяния» нашей внутренней жизни, уподобляются чешуям, одевающим и украшающим рыб. Чешуи же те, по Рейсбруку, должны быть четырех цветов: серого цвета — смирения, весьма красивого в глазах Бога, красного — напоминающего о страданиях Сына Божьего, зеленого — цвета исповедников и святых, белого — символизирующего зеркало чистоты, в котором можно увидеть, каким образом побеждена плоть, то есть склонность природы. Мир религиозно-философской словесности предъявляет себя здесь в качестве своеобразного произведения искусства, будь то уподобления чешуям рыб или рассуждения Рейсбрука Удивительного о божественном свете, проникающем в разные души людей подобно проникновению солнечного луча в камень, стекло, драгоценный кристалл и затем отражению в них.

Разумеется, такое видение мира возможно только при чистом созерцании бытия, которое, кстати, характеризовало видение нидерландских художников вплоть до XVI века. Именно поэтому Аверинцев, отметив в этом же смысле русскую икону до 1500 года, останавливается на нидерландской живописи XV века, в частности, на портрете четы Арнольфини Я. Ван Эйка, где в вещах «молчаливо живет таинство бытия» (стр. 395).

Совершенно иной подход к вещи определяет новоевропейский тип мышления. Аверинцев замечает, что практический рассудок человека Нового времени видит прежде всего вещь, вовлеченную в «причинно-следственные связи с другими вещами внутри временного потока» (стр. 387), интеллект же при этом занимает наблюдательную позицию в отличие от усматривающей греческой и созерцательной христианской, и соответствует такой установке ума — земной мир. Поэтому мы не сможем понять средневековый мир, если будем исходить из наших современных установок. Но, как точно заключает Аверинцев, у нас нет других возможностей, кроме наблюдения прошлого из нашего времени. Одновременно это и наше преимущество, так как вне времени вообще ничего невозможно понять. Отсюда и вполне резонный вывод-пожелание, делаемое автором: «Интерпретация прошлого возможна только как диалог двух понятийных систем: «их» и «нашей» (стр. 397).

Отдельного анализа заслуживают примечания С. С. Аверинцева, богатые по содержанию, весомые в общей системе его доказательств. За неимением места скажем лишь об их высокой культуре. К его заслугам следует отнести и открытие заново в советском искусствознании многих христианских мыслителей Византии и Запада, испещряющих теперь своими именами страницы многих советских работ по средневековой культуре.

Пожелание Аверинцева о диалоге культур в большой степени осуществляется в статье из этого же сборника О. С. Поповой «Икона

Спаса из Успенского собора Московского Кремля». Ее работу отличает четкость, отточенность мышления и искусствоведческий талант видения вещи. Попова, стремясь выяснить, к какой духовно-умственной среде принадлежал мастер, написавший Спаса из Успенского собора, подвергает икону блестящему искусствоведческому анализу, неразрывно связанному с исследованием духовной стороны образа Спаса и церковной жизни Византии первой половины XIV века, когда и была создана названная выше икона. Образный и стилистический облик иконы: сочетание в «Спасе» утонченного интеллектуализма и внутренней самопогруженности, а также выражение в иконе особой концепции света, соответствующей его вездесущности и свечению, — ставится автором статьи в связь с неоплатоническими учениями, присущими церковным «гуманистам» сороковых годов XIV века и исихастским, активизирующимся в середине XIV века. В своем анализе иконы Попова оперирует обозначенными ею иконографическими типами Христа. Так, «Спас» из Успенского собора относится ею к классическому типу Христа богослова-философа, сочетающему и иные типологические черты, связанные с возвращением в середине XIV века в Византии к «молчаливо-созерцательной «иконности» как лучшей форме выражения «духовного подвига» (стр. 142) после палеологовского ренессанса в начале XIV века.

Следует еще сказать о глубокой и серьезной статье А. А. Салтыкова «Пространственные отношения в византийской и древнерусской живописи» в том же сборнике. Предметом его исследования является изучение иконописи в ее отношении со зрителем, что заставляет его обратиться к тщательному рассмотрению вселенских православных соборов, установивших византийский канон, и литургических текстов восточного христианства.

Наиболее убедительным кажется в его статье раздел, посвященный мировоззренческому объяснению византийского канона, а также световой символике пространства. Эти рассуждения Салтыкова, во многом являясь развитием взглядов о. П. Флоренского, Л. Жегина, С. Аверинцева*, дают в то же время новое осмысление иконы в аспекте ее пространственного восприятия, подчиненного динамическому движению «изнутри наружу», от произведения к зрителю.

* П. А. Флоренский. Обратная перспектива. «Труды по знаковым системам», III, Тарту, 1967.

Л. Ф. Жегин. Язык живописного произведения (условность древнего искусства). М., 1970.

С. С. Аверинцев. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. «Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа». М., 1973, стр. 48.

В целом весь сборник «Древнерусское искусство» представляет хороший образец современного научного исследования средневекового искусства и особенно примечателен раскрытием его авторами духовной восточнохристианской культуры.

Т. Паншина

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

Авторханов А. Технология власти. Второе издание. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 813.

Булгаковъ Сергѣй. Тихія думы. Изъ статей 1911-15 гг. Изданіе Г. А. Лемана и С. И. Сахарова. Москва, 1918 г. YMCA-PRESS, Париж, 1976. Стр. 205.

Елагин Иван. Под Созвездием Топора. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 249.

Игнатова Елена. Стихи о причастности. Изд-во «Ритм», Париж, 1976. Стр. 74.

Кзаков Владимир. Ошибка живых. Роман. München. Verlag Otto Sagner in Kommission. Arbeiten und Texte zur Slavistik. 8. Herausgegeben von Wolfgang Kasack.

Мальцев Ю. Вольная русская литература. 1955—1975. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 473.

Некрасов Виктор. Записки зеваки. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 174.

Ржевский Л. Две строчки времени. Роман. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 189.

Тютчевъ Ѳ. И. Политическія статьи. Редакція изданія П. В. Быкова. Изданіе Т-ва А. Ф. Марксъ, С.-Петербургъ. YMCA-PRESS, Париж, 1976. Стр. 173.

Федосеев А. Западня. Человек и социализм. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 376.

Цветаева Марина. Неизданное. Стихи. Театр. Проза. YMCA-PRESS, Париж, 1976. Стр. 379.

Черная книга. Московская легенда. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Стр. 125.

Чиннов Игорь. Пасторали. Шестая книга стихов. Изд-во «Рифма», Париж, 1976. Стр. 112.

Чуковский К. Книга объ Александрѣ Блокѣ. Изд-во «Эпоха», Берлинъ, MCMXXII. YMCA-PRESS, Париж, 1976. Стр. 169.

Эрдман Николай. Мандат. Пьеса в трех действиях. 1924. Редакция и вступительная статья В. Казака. München. Verlag Otto Sagner in Kommission. 1976. Arbeiten und Texte zur Slavistik. 10. Herausgegeben von Wolfgang Kasack.

Luchterhandt Otto. Der Sowjetstaat und die Russisch-Orthodoxe Kirche. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1976. Ss. 320.

The Russian Review. An American Quarterly Devoted to Russia. Past and Present. July 1976. Vol. 35, No. 3. Inc., Hoover Institution, Stanford, California, USA. Pp. 121.

Wiemer Rudolf Otto. Die Angst vor dem Ofensetzer oder Glorreiche Zeiten. Fünfzehn Geschichten. J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart, 1975. Ss. 66.

От редакции: В № 102 «Граней» помещен материал под инициалами Н. В., который касается публикации отрывков статьи Вячеслава Иванова о русском языке. Эти фрагменты хранятся в «Пушкинском доме». Оттуда они попали в «Самиздат», а затем на Запад, и были нами опубликованы. Один фрагмент — начало статьи, с пропусками. Второй — часть рукописного черновика. Сама статья В. Иванова целиком под названием «Наш язык» была опубликована в сборнике «Из глубины», который, как известно, был сверстан в 1918 году, затем — «заморожен», а в 1921 г. был самовольно выпущен типографскими рабочими и тут же, на месте, конфискован. В 1967 г. под редакцией Н. Струве и Н. Полторацкого он был переиздан в изд-ве YMCA-PRESS. В сборниках статей В. Иванова статья «Наш язык» никогда не публиковалась. Таким образом, предположение нашего автора Н. В., что этот материал еще нигде не был опубликован, не оправдалось. Но насколько символично для судеб русской культуры в нашем веке это происшествие! Оно показывает глубокий интерес людей в России и бережное отношение к нашему литературному наследству. Цветок, выражаясь языком нашего автора Н. В., был «грубо сломлен и втоптан в грязь кованым сапогом «нового антропологического типа» (Н. Бердяев)», но корень остался, и из него, столько лет спустя, пробился новый росток, ущербный, но подлинный. Вина — на редакции, что она догадалась просмотреть лишь изданные сочинения Вячеслава Иванова, совсем забыв заглянуть в сборник «Из глубины», о котором совсем еще недавно печаталась статья в «Гранях».

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - V e r l a g,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества подавляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку):

При подписке непосредственно из издательства —
48 н. м.

При подписке через представителей и книжные
магазины — 60 н. м.

Цена в розничной продаже — 15 н. м.

Розничная цена № 100 — 20 н. м.

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —
21 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные
магазины — 26 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 6.50 ам. дол.

Розничная цена № 100 — 9 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postcheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.